

Баши-Ачук
Историческая повесть

Глава первая

Откуда-то из необозримой дали мчится, извиваясь змеей, бурливая Арагва и, пробивая себе путь, яростно, с размаху налетает на отвесную скалу! Отброшенная несокрушимой твердыней, оглушенная, ошалевшая, она останавливает здесь свой бег, как бы для того, чтоб перевести дух, и, покругившись на месте, снова устремляется вперед, но течет уже медленнее, осмотрительнее, со стоном и рокотом унося свои воды в долину.

На вершине этой отвесной скалы, разрезая облака, высится огромный неприступный замок, словно надежный часовой, озирающий с высоты окрестности. Замок обнесен высокой крепкой оградой, и только с востока виден протянувшийся вдоль всей стены балкон.

В замке уже отполдничали. Эристав Заал, почтенный старик, сидел, поджав ноги, на тахте, стоявшей в углу балкона, и перебирал четки.

Тут же рядом, придвинув стул к самым перилам, супруга Заала читала «Канон страстей». Псалтырь лежала у нее на коленях; прочитав псалом, — а повторить его ей предстояло, по обычаю, сорок раз, — княгиня крестилась и передвигала очередной узелок на шнурке, заменявшем ей четки.¹

— Ой! Помогите! — вскрикнула вдруг княгиня, растерянно озираясь на стены замка. Заал вскочил и поспешил к жене.

— Что с тобою, Мариам? Что случилось?

— Ничего, — ответила, придя в себя, княгиня. — Голова закружилась. Показалось, будто дом шатается: вот-вот, думаю, рухнут стены... Почудилось, видно...

— А все оттого, что читаешь без передышки! Так всегда бывает от чтения...

— Загляделась на омут, в глазах зарябило, — смущенно оправдывалась Мариам.

— Вот и я говорю! Набежала рябь, заиграла волна и всколыхнула отражение замка... Как же ты не сообразила? Ребенок и то догадался бы! — добавил, смеясь, эристав и снова расположился на тахте.

— Когда сердце не на месте и дрожь от страха пробирает, не то еще померещится. С ума можно сойти от этого сна, никак не могу успокоиться...

— Какой сон?

— Удивительный сон, что приснился вчера нашему духовнику.

— Что же ему приснилось такое?

— Хоть бы и мне самой не слышать! Не могу рассказать...

— Эй, кто там, люди! Позовите отца Кирилла, разбудите, если спит, и немедля приведите ко мне! — крикнул князь.

Он отбросил четки, отодвинул мутаку и, спустив с тахты ноги, не торопясь сунул их в шлепанцы.

Священник вошел и остановился перед князем.

— Мир дому сему! — сказал он.

— Садись, отец! — приказал князь, указывая на складной стул. — Говорят, тебе приснился какой-то странный сон?

— То было скорее видение, чем сон, мой господин!

¹ В старину школьники на уроках чтения держали в руках бечевку или грубую нитку с десятью узелками. Прочитав урок, они каждый раз передвигали узелок, вроде как бусинки на четках. Отсчитав все десять узелков, они, если было нужно, начинали счет сначала. Такая бечевка, или шика с узелками, называлась «сквнили». (Прим. автора.)

— Однако ты всех перепугал...

— Я не хотел рассказывать, но люди спросили: чего ради я вдруг отслужил молебен? — и я не в силах был утаить.

— Что же тебе в конце концов приснилось?

— Поистине нечто удивительное...

Священник откашлялся и начал тихим, прерывающимся от волнения голосом:

— Привиделось мне, будто Алавердским монастырем — да славится его благодать! — овладела нечистая сила.

— Нечистая сила?

— Истинно! Дракон обвился вокруг храма: трижды обвился, пастью вгрызся в собственный хвост, а кончик хвоста еще на добрую пядь торчит. Так и спит окаянный! Ужас напал на людей такой, что никто не смел войти в храм; в нем уже не справляли богослужений, умолкли песнопения и молитвы. Парод, окаменев от страха, толпился вокруг и глядел на дракона. Время от времени нечистый просыпался, вытягивался и, сверкая глазами, с разинутой пастью, тянулся скользким своим телом к толпе и хватал всех, кто попадался ему на пути, перебирая одного за другим стоявших вокруг в оцепенении людей. Насытившись и раздувшись, дракон снова обвивался вокруг храма... Так при каждом его пробуждении погибала тьма народу.

И вдруг, невесть откуда, появились три воина, вооруженные луками и кольями, один краше другого — глаз не оторвать! В руках воинов сверкали щиты и мечи. Один из них, обратившись к пораженному ужасом народу, крикнул:

— Грузины, и вот этак пали духом! Забыли древний завет: «Позор хуже смерти, а смерть с позором — ад!» Вы уже попросились с жизнью, не сегодня-завтра погибнете все до одного — чего же стоите, словно овцы, понунив головы?! Не лучше ли сразиться с нечистым и, утолив сердце, погибнуть в борьбе? Где же ваше мужество?

Слова воина молнией облетели толпу, народ очнулся, зашумел, задвигался, грянул боевой клич, и стар и млад схватились за оружие — кто за меч и щит, кто за топор, кто за косу или серп, кто за дубину, — каждый вооружился тем, чем ему было сподручнее и привычнее.

Воины двинулись вперед, увлекая народ за собою; приблизившись к дракону, они разом пустили в него три стрелы.

Но — прокляни его господь! — ни одна из них не вонзилась в тело окаянного, все три отскочили от его мерзкой неуязвимой чешуи.

Проснулся дракон, поднял высоко голову, ошетинился весь, из пасти его вырвался вдруг леденящий душу свист, и он кинулся на людей. Потрясающее то было зрелище: дракон отбивался от противников хвостом, крушил их лапами, рвал когтями, терзал зубами.

Дело обернулось бы совсем плохо, но три неведомых никому воина подобрались к дракону с трех сторон и вступили с ним в смертельную схватку. Со сказочной быстротой сверкали их булавы! Но что было делать? С каждым ударом, с каждой новой раной силы дракона прибывали!

Раскрошились мечи воинов, разбились щиты, обессиленные герои уже готовы были покориться судьбе, но в это мгновение на горе показался всадник — с копьем в руке мчался он на белом коне.

Всадник ринулся на расвирепевшего дракона и в мгновение ока пронзил его копьем. Извиваясь всем телом, дракон зашипел и, подыхая, широко разинул свою пасть, — из нее вырвались клубы черного, зловонного пара.

Все мы без чувств грохнулись наземь...

Не знаю уж, долго ли пролежали мы так, но когда пришли в себя и, открыв глаза, глянули вверх — все исчезло! Не видать было ни дракона, ни воинов, скрылся из глаз и всадник на белом коне.

Тишину нарушал только торжественный перезвон колоколов, хотя на колокольне не было ни живой души; храм светился огнями, двери были распахнуты настежь. Народ с

радостными кликами, снимая на ходу шапки и крестясь, устремился в храм. Когда мы вошли, в храме было пусто. Только у царских врат покоились три воина: они уже отошли в мир иной. Столб света озарял их, а с высоты неслись песнопения: «Со святыми упокой...»

— Свят, свят господь Саваоф! — произнес изумленный эристав, осеняя себя крестным знамением.

— Полны небо и земля славы твоей, — продолжала Мариам.

— И чудес! — добавил священник.

Все умолкли, и долго-долго молчали, объятые каким-то необычайным волнением; двое из них думали только о божественном промысле, но Заал оставался весь во власти мирских тревог.

Вдруг грянул гром и раскаты его прокатились по небу от края до края, словно по поднебесью с грохотом пронесли колесницы.

— Свят, свят! — повторил эристав и снова перекрестился.

— Повелитель туч проследовал в горы! Да будет благословенна его благодать!

В эту минуту где-то вдали снова несколько раз подряд грянул гром, и горы, как бы вторя ему, отозвались эхом.

— А-а! Ударило где-то! Черту в голову! Черту в голову! — весело приговаривал, вставая с тахты, Заал.

Хлынул дождь, потоки его заливали балкон. Заал и его супруга ушли в комнаты. Мариам тотчас же устремилась к божнице, чтобы зажечь перед иконами свечи. Отец Кирилл, оставшись в одиночестве на балконе, преклонил колени, и простирая горе руки, произнес с благоговением:

— Господи, обрати свой взор на страждущую христианскую страну, и да сбудется, по милости твоей, сей сон ей во благо!

И долго стоял он так, словно окаменев, только губы чуть шевелились и слезы градом падали на белоснежную бороду.

Глава вторая

Выйдя ранним утром на балкон, Заал окинул взглядом густо заросшие кустарником берега Арагвы. Тут же, вытянувшись у стены, стоял пожилой, уже с проседью, управляющий и угодливо смотрел в глаза князю.

— А ведь сбылся, да и только, сон нашего Кирилла. И в самом деле Арагва извивается здесь, словно дракон! Сколько лет живу на свете, а не видел такого разлива, — сказал эристав.

— И мне тоже не приходилось, да не лишит меня бог вашей милости! Все вокруг размыло — леса, луга; и мосты, где были, говорят, снесло, даже каменный; дороги отрезаны, а ведь на том берегу застряли наши пастухи! — доложил Заалу управитель.

— Так что ж? И там ведь наши земли... За неделю вода спадет, горные реки быстро мелеют...

— Спадет и раньше, а все-таки плохо, что пастухи два-три дня проторчат без дела.

— Неужто там не найдется для них работы?

— Работа, конечно, найдется, только известное дело: раз не стоишь над головой, сами никак не додумаются! Будь они сегодня под рукой, сунул бы им веревки с крючьями и поставил на берегу у излучины вылавливать бревна... И запаслись бы мы дровами, принесенными, можно сказать, прямо к воротам.

— И в самом деле, откуда столько лесу несет? То и дело всплывают бревна...

— Видно, смыло потоком заготовленный в горах лес, да прямо в реку...

— Должно быть... Но разве некого больше поставить?

— Люди-то есть, как не быть! Да у каждого своя работа, оттого и досадно мне, что пастухи слоняются без дела...

— Дров, милый, заготовьте побольше, сколько рук хватит. Известь понадобится,

пережигать придется, чтоб церковь подправить. Священник не дает мне покоя, да и княгиня требует: «Побелить, говорит, надо бы...» Дело доброе, богоугодное, да и дрова, что рекой принесло, — хорошие, чистые дрова, вот и пойдут на святое дело.

— Воля ваша, батопо.

Во время этой беседы вдали на лугу показался всадник. Он мчался прямо к замку. Заал увидел его и сказал:

— Либо безумец какой-то, либо беда над ним стряслась... Слыханное ли дело, чтобы человек пустился в путь без шапки, с непокрытой головой?..

Управитель взгляделся попристальнее и, улыбнувшись, ответил:

— Имеретин, должно быть; а папанаки² издали не видать, волоса-то во как растрепаны!

— Имеретин? Но как и зачем попал он сюда?

— Не могу знать, ваша милость, только наверняка имеретин — и коня горячит как-то не по-нашему...

Тем временем всадник подъехал к Арагве. Увидав, что мост снесен, несколько раз проскакал вверх и вниз по берегу в поисках брода, затем повернул коня и отъехал прочь от реки.

— Ага, видно плохи твои дела, имеретин! Извини, пожалуйста, что мост не припасли для тебя! — насмешливо воскликнул Заал и снова обратился к управителю: — Вообра зил, видно, будто перед ним имеретинская речушка, что вертит крохотные мельницы... перепугался, кажется, на смерть, целый год не очухается.

— Не обойтись ему без знахарки, клянусь вашей милостью, не то сердце лопнет от страха! — ухмыляясь, поддакнул управитель.

Всадник, проскакав несколько раз взад и вперед по лугу, разогнал коня, направил его прямо к реке и, пришпорив, кинулся в круто вздымавшиеся волны; и конь и всадник мгновенно скрылись из глаз, словно их поглотила пода. Немного погодя показалась голова коня — он плыл наперерез течению. А всадни к как бы прирос к седлу; натянув поводья, он вел коня к противоположному берегу, повыше скалы.

Он был уже близок к цели, но в эту минуту плывущее по реке огромное бревно налетело на коня, сбило его в сторону и отнесло течением пониже того места, где можно было выбраться на берег. Всадник отпустил поводья, и в одно мгновение конь вместе с седоком очутились в водовороте.

— Эй, люди, кто посмелее? Живо па помощь! Зовите пловцов! Спасите его! — кричал Заал.

Попав в водоворот, конь перестал бороться, как бы отдавшись на волю судьбы; это была только короткая передышка, — ободряемый гиканием седока, он вырвался из водоворота, но тут его понесло и закружило в кипении водопада; седока выбило из седла; схватившись за гриву, он плыл рядом с конем.

Долго следил за пловцом эристав, но вот и он и его конь скрылись из виду.

— Бедняга! — воскликнул с сожалением князь. — Здесь, в этой пучине, их еще можно было спасти, но там — страшный водопад, кто туда сунется...

Князь торопливо направился к двери, но в это время на балкон выбежала испуганная Мариам: она слышала, как муж ее звал на помощь. Князь рассказал ей о том, что случилось.

— Там уж, видно, не избежать ему гибели, — заключил он.

Мариам пронзительно вскрикнула.

— О, злосчастная его мать! — причитала она, хлопая себя по коленям и царапал щеки.

Облегчив сердце слезами. Мариам взялась за псалтырь и обратилась, по привычке, к «Канону страстей».

На балкон робко вошел управитель и кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание князя.

² Папанаки — круглая плоская шапочка на шнуре, ее носили только в Западной Грузии.

— Что же ты сделал? Послал на помощь? — спросил его Заал.

— Послал, ваша милость, но пловцы испугались, не осмелились сунуться в воду... Уж очень разбушевдалась река.

— Унесло, значит?

— Унесло, да недалеко... Выкинуло тут же за поворотом, где обычно застревают и сбиваются кучей бревна.

— Надо бы вытащить как-нибудь, грешно так бросать, — сказала княгиня.

— Да кому он теперь нужен, госпожа моя? А был на редкость хорош! Иза сто золотых не уступил бы отцу своему родному сыну!

— Ты, видать, спятил, управитель? — прервал его князь. — Разве можно так говорить о христианской душе?

— Какой христианин, ваша милость? Я говорю о коне, а седок-то ведь выплыл.

— Выплыл?! — воскликнули в один голос супруги.

— Слава тебе, господи! Радостную весть ты принес нам. Поистине приятно... А ты не узнал, кто он и что ему нужно?

— Мне он пока ничего не сказал, торопится вас повидать. Если прикажете, явится, как только обсохнет.

— Прекрасно... Приведи его!

Управитель вышел, а Заал, придя в доброе настроение, сказал жене:

— Видно, не из простых. Какой смельчак! И ловок к тому же на редкость! Слышала? Пловцы не решились сунуться в воду, а он, можно сказать, взял да перешагнул разбушевавшую Арагву. Сказать правду, даже я в юности навряд ли решился бы...

Мариам рассмеялась.

— Ты чего смеешься? Вспомнила небось, как я, чтобы покрасоваться перед тобою, кинулся верхом в Алазань? Эх, всему свое время! — добавил князь со вздохом.

Управитель ввел в комнату молодого человека. Высокий, с тонкой талией, широкоплечий, с растрепанной копной волос, с откинутым за плечо папанаки, с тонкими закрученными усиками на бритом лице — юноша был весьма приятен на вид.

С достоинством скрестив ноги,³ он приветствовал князя низким поклоном.

— Гамарджоба! — поздоровался с ним эристав.

— Да пошлет тебе господь победу во все твои дни, мой государь! — ответил гость и еще раз поклонился.

— Слава тебе господи, спасся ты от гибели. Зачем подвергал себя такой опасности? Чего ради?

— Стоит ли, государь, говорить обо мне, когда опасность угрожает всему христианскому миру? К тому же я не думал, что меня ждет такое испытание... На коня понадеялся... Сколько раз я кидался на своем Абхазуре в бурные волны, и он всегда с честью выносил меня на берег; а нынче не повезло, одолела нас самая обыкновенная река. Так ему, видно, на роду написано, — заключил гость с тяжелым вздохом; на глазах у него показались слезы.

— Жаль тебе твоего Абхазуру, я вижу, и очень!

— Я любил его, государь мой, как родного брата. Сам его вырастил, выходил.

— С волнами мой конь, может, и не справится, но на суше нет ему равного... Дарю тебе взамен моего Арабулу!

Юноша шагнул к князю и, преклонив перед ним колено, приложился к краю чохи. Управитель, пожав плечами, с завистью оглядел награжденного князем пришельца.

— Слышишь, управитель? Чего мнешься? Оседлай Арабулу твоим золоченым седлом, оно тебе пока ни к чему, потом получишь другое, — приказал эристав.

— Не лучше ли, мой господин, пожаловать гостю рыжего мерина?

³ Знак почтительности к старшему.

— Разве тебя кто спрашивает? Делай, что приказано!

— Воля ваша, мой господин, но к Арабуле окаянному не подступишься с седлом.

— То есть как не подступишься?

— Да вот— не дается! С год уже никто на него не садился. Два конюха с трудом выводят из конюшни... Одичал конь.

— А ты не тревожься! Кому подарили, тот пусть и справляется!

— Да на что ему конь, на которого не сядешь?

— О господи! Заладил одно! Только глупого нельзя сделать умным, а буйного всегда можно укротить. Ты что скажешь, юноша?

— Справлюсь божьей и вашей милостью! Люди сказочных крылатых коней обуздывают, как же мне не справиться с обыкновенной лошастью, — с улыбкой отозвался гость.

— И я так же думаю. Владей на здоровье! А теперь расскажи, откуда ты и зачем к нам прибыл?

— Я из Кахети, ваша милость.

— Из Кахети? А разве дорога открыта?

— Нет, государь, но у меня фирман.

— Ты же сам как будто имеретин?

— Имеретин, только я давно уже покинул родные края и живу в Кахети. Послал меня ваш зять, Бидзина Чолокашвили.

— Что случилось? В чем дело?

— Он приказал передать вам письмо, мой государь, в нем все сказано. — Юноша вынул из-за пазухи письмо и подал князю. — А это старшей госпоже — от дочери.

— Удивительно, как письмо не промокло?

— Я завернул его в вощенное полотно.

Эристав поспешно вскрыл письмо и стал читать про себя. Княгиня принялась искать очки. Имеретин и управитель молча глядели на них. Читая письмо, князь явно волновался и несколько раз кидал взгляд на имеретина.

— В своем ли он уме? Мыслимое ли это дело? — спросил Заал гостя.

Имеретин молча указал взглядом на управителя. Эристав понял и отпустил его. Ушла и Мариам за очками, Князь и имеретин остались одни.

— Он пишет: «Гибнет христианский мир, в церквах не справляют службы, умолкли колокола, иконы осквернены, храмы поруганы». Слыхали об этом и мы, да что поделаешь, — нет у нас сил. Бог покарал нас гневом своим, надо терпеть, положившись на волю божию.

— Не пристало мне перечить вам, мой государь, но кто не знает притчи о еврее, который, чувствуя, что тонет, воззвал к богу: «Спаси меня, господи!» А господь ему ответил: «Пошевели-ка сам рукою, и я тебе помогу...»

— Хороша притча, но не подходит в такие времена. Пошевелить рукой? Нас это уже не спасет! А все же на что надеется мой зять?

— На господа бога и на вас... Сам он выставит пятьсот отборных воинов, по пятисот воинов обещают выставить в поле эриставы — это уже полторы тысячи; да еще пятьсот он рассчитывает получить от вас...

— Хотя бы и так, но разве мыслимо с двумя тысячами воинов вступить в бой с шестидесятитысячным войском персов? Не говоря уже о том, что по обеим сторонам Алазани разбросано пятнадцать тысяч туркмен. И все они отличные воины, и стар и млад...

— Две тысячи грузин, если подойдет подмога и отсюда, — рать не малая, государь мой. «Попытка — половина удачи», — говорит народ.

— Пословица эта не для таких стариков, как я. А зять вон еще молод, потому не знает удержу. Меня удивляет другое: как может быть с ним заодно эристав ксанский! Неужели он не понимает, что нам грозит гнев шаха? Да и царь Картли будет недоволен.

— Когда до царя Картли дойдет весть о победе, он уже ничего не скажет; правда, он

магометанин, изменил грузинской вере, но сердцем все же больше с нами. А в том, что мы, милостью божьей, победим, сомневаться не приходится.

— Эх, мой имеретин, какой же ты еще юный и недальновидный! Вся Кахети поднялась против персов — и ничего не добились, а вы хотите изгнать их, располагая всего двумя тысячами воинов! Мыслимое ли это дело? В руках персов и города и крепости. Кахети мы этим никак не поможем, зато Картли ввергнем в беду... Разъяренный шах только ищет повода расправиться с Картли так же, как он расправился с Кахети! Если мы еще живы, так только благодаря царю Вахтангу, нас спасла его дальновидность. Дай бог долгой жизни царю Вахтангу!

— Шаху Навазу?! — с горькой улыбкой отозвался имеретин.

Он хотел еще что-то добавить, но в эту минуту в комнату как безумный ворвался отец Кирилл.

— Прибыли ксанские эриставы, ваша милость, — доложил он князю.

— Ксанские эриставы? Проси пожаловать!

— Те самые, батоно, истинно те самые, — твердил взволнованный священник. — Их-то я и видел! Чудны дела твои, господи!

— Отец Кирилл, ты что-то сегодня не в себе!

— Да не лишусь я вашей милости, батоно, истинно-истинно они! Я узнал их!

— Да что ж тут удивительного? Узнал, говоришь? И прекрасно! О господи, чего же ты стоишь? Ступай прими их, проводи в гостиный зал, я сейчас выйду. Доложите княгине... А ты, мой имеретин, ступай к управителю и подожди у него, пока я напишу ответ своему зятю... Эти эриставы, видно, тоже неспроста пожаловали... — добавил он про себя и покинул балкон.

Все в доме засуетились: забегали слуги, повара зарезали особо откормленного бычка, пекари разожгли огонь в тонэ, нянюшки сбились с ног, отдавая распоряжения служанкам, — словом, поднялась суматоха.

Управитель усердно покрикивал то на одних, то на других:

— А ну живее! А ну шевелитесь! Не подведите меня! Не осрамите! Уж я-то на вас полагаюсь!

Он выкрикивал все это с превеликим усердием, однако сам не двигался с места, да и не знал толком, кому что поручить, кого куда послать. Каждый сам исполнял привычное ему дело, он же надрывался, как водится, только для того, чтобы господа, услышав его голос, могли судить об усердии и преданности своего управителя.

Заблеяли овцы, закудахтали куры, пригнали гусей и индеек — и начались приготовления к пиршеству. А управитель кидался от одной кучки дворовых к другой, щупал убоину и живность, достаточно ли она жирная, и утирал катившийся по лицу пот. В это время прибывшие эриставы вместе с хозяином расположились в гостинном зале на тахте, подобрав под себя ноги, и о чем-то горячо заспорили. Один из них, высокий статный старик, молчал и лишь по временам кивал головой в знак согласия с молодым своим спутником, взволнованно убеждавшим в чем-то Заала.

— Шалва еще молод, и ему трудно не поддаться влечению сердца, — заметил Заал, обращаясь к старику, — да и Бидзина, зять мой, человек еще не зрелый, к тому же он изо дня в день видит сам, как страдает до крайности народ, вот Бидзина и готов сложить голову ради родной страны. Но я удивляюсь тебе, мой Элизбар! Немало радостей испытал ты на своем веку, еще больше перенес горя, — видит бог, ты достаточно умудрен опытом. И мне непонятно, как ты мог даже помыслить о столь опасной затее?

— Что делать, мой Заал! Я долго отговаривал этого юношу, моего племянника и приемного сына, но тщетно: он не внял моим советам и все твердит: «Пойду один!» К тому же — не стану лукавить — мне и самому по душе замысел этой молодежи. Лучше умереть, чем жить такой жизнью! Страна наша погибает, не можем же мы сидеть скрестив руки!

«Коль рок шадит — и враг не страшен».⁴ Доверимся же и мы провидению!

— И все-таки лучше выждать... Сегодня так, а завтра будет иначе; вчера было ненастье, сегодня — видишь, светит солнце. Нужно уметь выбрать подходящее время.

— Лучшего времени нам не дожидаться! — горячо воскликнул Шалва. — Кахетинцы уже пали духом, того и гляди зараза перекинется и на Картли. Мы должны поспешить на помощь кахетинцам, пока они не отчаялись, пока в сердцах еще теплится надежда! Если нам не суждено победить — погибнем хоть со славой:

Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней
позор!⁵

— Спору нет, великий человек изрек эти слова, но ведь и тот был недалек от истины, кто сказал: «Береженого бог бережет».

— Однако иной раз осторожность сродни трусости, — с улыбкой проговорил Элизбар и ласково взглянул на Шалву.

— Подстрекашь, что ли? — с досадой заметил Заал. — Вы вольны жертвовать собой, а родина? На что вы ее обрекаете, не спрося у народа? Мы загубим две тысячи воинов — да, загубим! Но кто же встретит врага тут, когда он в ярости кинется на нас? Подобным своеволием мы разгневаем царя — и только... Доныне, так или иначе, наш государь спасал Картли своей дальновидностью. Ему удалось завоевать доверие шаха. И неужели мы сами разрушим то, чего он добился ценою столь долгих усилий? Ведь все пойдет прахом по нашей же вине!

— Спас нашу родину? О, горе нам! — снова воскликнул с горячностью Шалва. — Кахети омусульманилась: карталинский царь, миропомазанник Вахтанг, превратился в обрезаца шаха Наваза... и мы каждый год посылаем в дань уже не шестьдесят девушек и юношей, а вдвое больше... Стон и плач несутся отовсюду... Каких бед еще ждать? Не сегодня-завтра не станет и Картли, ее также разорят дотла, как разорили Кахети. Но кахетинцы хоть обрели в борьбе с врагом славу — они ценою жизни спасли свою душу, мы же, карталинцы, губим и тело и душу!

— Верно, — поддержал его Элизбар. — «Но недруга опасней близкий, оказавшийся врагом».⁶ Шах Аббас уже не впервые так лукавит: он осыпает милостями шаха Наваза, пока тот ему нужен, а потом отделается и от него. Шах Аббас рассчитывает, устранив все помехи, проглотить пока что Кахети, а затем он примется за Картли... Открытый враг не так опасен, как тот, кто под личиной друга лисой прокрался в дом.

— Поистине, я поражен вашим замыслом, и сам никогда не решусь на подобное дело. И зятю своему пошлю отказ. А вы — дай бог вам удачи! Только, смотрите, не пришлось бы каяться!

Долго еще продолжалась эта беседа. Шалва горячился, Заал не раз терял терпение, а Элизбар, оказавшийся между двух огней, пытался, насколько было возможно, примирить несогласных. Дело дошло до того, что недовольные хозяином дома ксанские эриставы решили уехать, даже не отобедав. Они уже поднялись, но в эту минуту распахнулась дверь и в гостиный зал вошла Мариам, в руках она держала икону святого Георгия.

— Да увенчает господь успехом ваш благой замысел и да поможет вам святой Георгий! — сказала княгиня и поставила икону перед удивленными эристами. Затем

⁴ Из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

⁵ Из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

⁶ Из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

княгиня обратилась к мужу:

— Мой господин, сколько бы ни возносился, хотя бы до небес, человеческий разум — все равно ему не постигнуть промысла божьего. Так не препятствуй же, не противься их желанию. Оно внушено им самим небом и явлено нам, да исполнится воля его! Войди, отец, и поведай! — позвала Мариам священника.

Отец Кирилл вошел и остановился у порога. Эриставы переглядывались, как бы спрашивая друг друга: «Что все это значит?»

— Говори же, отец Кирилл, — повторила Мариам священнику.

— Они, как есть они, ваша милость! Я их узнал!

— Чего ты, отец, с самого утра затвердил «узнал» да «узнал»?.. — сердито проговорил Заал. — Узнал — и слава богу! Награды, что ли, ждешь за угадку?

— Я же докладывал вам, батоно, что это они...

— Да ты с ума сошел, что ли? Я и без тебя это прекрасно знаю!

— Да нет, ваша милость, я ведь не о том...

— Что с тобою, Заал? Как ты не понимаешь? — вмешалась княгиня. — Он же говорит о том, что видел именно их во сне...

— Во... сне? — переспросил Заал, раскрыв рот от удивления.

— Да, мой господин, — подтвердил отец Кирилл и снова рассказал свой сон, Эриставы слушали и удивлялись.

Когда священник в заключение поведал о том, как, войдя в храм, он увидел перед царскими воротами останки трех погибших героев, Заал вдруг перебил его:

— А третий? Кто же был третий? Ты его не узнал?

— Да, теперь, когда вижу их, я вспомнил и третьего. То был ваш зять. Поистине он!

— Бидзина Чолокашвили? А меня там не было?

— Нет, ваша милость, не было.

— А тот неведомый всадник был, верно, святой Георгий, — сказала княгиня, указывая на образ. — Да не лишит он вас своей милости и да поведет он вас!

Эриставы глубоко задумались. Они как бы оцепенели и долго не могли вымолвить ни слова. Наконец, Элизбар обратился к Заалу:

— Что скажешь теперь?

— Да исполнится воля господня! Что могу сказать? Вижу тут чудесное знаменье... Но достаточно и вас троих! Сами слышали: я тут лишний. Против царя не пойду, но не стану препятствовать, если кто-нибудь из моих людей по внушению отца Кирилла последует за вами. При том я ведь о сем и знать ничего не знаю! — Князь засмеялся. — Отец Кирилл! Надеюсь, мои люди пойдут за тобой, если ты призовешь их и станешь во главе с крестом в руках.

— Во имя господне! — сказал священник и, перекрестившись, приложился к иконе.

— Аминь! — воскликнули в один голос эриставы и тоже приложились к иконе.

Затем они снова уселись и стали совещаться: обсудили в подробностях, как и когда выступать, сохраняя в глубокой тайне все приготовления; персов решили, не поминать, а в случае надобности ссылаться на то, что имеретины, как известно, готовятся напасть на Мегрелию.

Эриставы были вне себя от радости: вещий сон, привидевшийся священнику, вселил в них надежду и бодрость.

Начался пир, достойный ксавских и арагвинских владетелей. Гости веселились до заката, а затем двинулись в путь.

На следующий день имеретин, спрятав за пазуху письмо князя Заала Бидзине Чолокашвили, вплавь — как и в прошлый раз — переправился через Арагву на новом своем скакуне, Арабуле, и умчался той же дорогой, которой давеча прибыл...

Управитель долго глядел ему вслед и бил себя в грудь.

— Ах, чтоб тебя! Выпросил у князя такого чудесного коня за свою клячу, а меня даже взглядом не удостоил! — ворчал он, досадливо качая головой.

Глава третья

Было время, когда в Сацретло обитало немало именитых, богатых и сильных дворян, но никто из них не мог сравниться с Бакаром Бакрадзе. Он был предан царю, покорен своему князю, а любовью к отчизне и верностью ей завоевал славу не только себе и своей семье, но благодаря ему возвысился и весь род Бакрадзе. Возвышению Бакара способствовало и то, что Церетели поручили ему управление всеми своими владениями.

Но была у него одна печаль: дети его умирали в младенчестве. Тогда Бакар, по совету добрых соседей, назвал новорожденного сына — Глаха⁷ и посвятил его богу. И в самом деле, мальчик рос веселым и резвым, как птичка. Затем у Бакара родились еще девочки-близнецы, и он был на вершине счастья.

Но разве радость в сем мире бывает когда-нибудь долговечной? К тому же, как говорится, из одного дерева вырезают и крест и дубину. Младший брат Бакара, Кико, был человек совсем другого склада. Отбившийся от семьи пройдоха и гуляка, он не пропускал ни одного пиршества: стоило ему услышать звон стакана или увидеть дымок над кровлей, и Кико был уже тут как тут. И вот, скитаясь по окрестным деревням, он схватил где-то сороковины и занес заразу в дом. Сам-то Кико в конце концов оправился, но брат его и невестка, проболев всего неделю, распростились с сим бранным миром, а сироты их остались на попечении своего дяди. Кико завладел богатым братним поместьем и постепенно вошел во вкус привольной и обеспеченной жизни.

Девочек Бакара он отдал на воспитание в Гвимский монастырь, а мальчика предоставил самому себе: «Пусть живет, как знает, — авось где-нибудь споткнется, попадет в беду, и останется тогда мне Бакарово добро».

Однако недаром говорится: «По дереву и плод», — так и маленький Глаха с каждым днем мужал, набирался сил, и к шестнадцати годам во всей округе не было юноши, равного ему по удали и красоте.

Однажды, подходя к дворцу, Глаха еще издали увидел во дворе кучку людей, толпившихся у большого ветвистого дерева. Были здесь и князь и дворцовая челядь. Подъехав к воротам, Глаха спешился, привязал коня у ограды и почтительно подошел к своему господину.

— О, здравствуй, — крикнул ему Церетели. — Ты подросел как раз во-время. Хвалят тебя повсюду, вот и посмотрим, каков ты на деле: ястреб мой, видишь, повис на самой верхушке, ремешком зацепился, надо его как-нибудь снять.

— Прикажете, батоно! Влезть-то на дерево, я влезу, только выдержит ли меня ветка?

— В том-то и дело! — закричали со всех сторон приближенные князя. — Взобраться и нам недолго!

— Нет, ты придумай что-нибудь другое, — заметил князь.

— Ничего не поделаешь, придется перебить ремешок пулей, — сказал Глахука, — другого выхода нет.

— Пулей? Смотри не подстрели мне ястреба.

— Помилуйте, батоно! — ответил, улыбаясь, юный Бакрадзе и снял с плеча ружье, с которым, по нравам того времени, никогда не расставался.

Отойдя немного в сторону, Бакрадзе опустил на одно колено и прицелился. Все затаили дыхание. Раздался выстрел — ястреб забился на ветке.

— Эх, оплошал! — воскликнул князь.

— Почему, батоно? Ястреб зацепился обеими лапками, — одной пулей оба ремешка не перешибешь, лапки то у него растопырены. Правый ремешок я уже пробил, теперь выстрелю в левый!

⁷ Глаха — буквально: бедняк; уничижительное имя давалось и целью умиловить судьбу.

Глаха зарядил ружье и снова выстрелил.

Ястреб сначала пошел вниз, но, опустившись немного, внезапно перекувырнулся в воздухе и взмыл ввысь, к небу. Сокольниковы поспешили в ту сторону, куда ястреб направил свой лет.

Все дивились меткости молодого стрелка, а сам он, как ни в чем не бывало, принялся протирать ружье.

— Подайте-ка сюда, мою кривку, — приказал Церетели. — Сказано ведь: «Ружье — стрелку, стрелок же — миру». Ты поистине достоин владеть этим ружьем, и дай бог тебе удачи!

Принесли из дворца ружье с длинным тонким стволом, ложе его было сплошь украшено золотом, и вручили стрелку.

Успех молодого Глахуки отнюдь не доставил удовольствия многим из обитателей дворца, зато наполнил радостным волнением одну девичью душу: юная дочь Церетели стояла в это время у башенного окна и, волнуясь, следила за каждым движением Глахуки. Она и раньше слышала о молодом Бакрадзе, и рассказы о нем запали в ее сердце, по сегодня ей довелось воочию убедиться в мужестве и ловкости прославленного юноши, и в сердце восхищенной княжны вспыхнула любовь.

Недаром духовенство жаловалось в старину, что народу «Витязь в тигровой шкуре» милее евангелия. В течение веков в Грузии все от мала до велика зачитывались этой книгой: мужчины подражали Тариэлу и Автандилу, девушки стремились уподобиться Нестан и Тинатин, царь и придворные мнили себя Ростеванами и Согратами, слуги следовали примеру Шермадина, а служанки восхищались Аснат. Так и в этом случае у княжны Церетели нашлась своя Аснат, и между влюбленными завязалась переписка. Юный Бакрадзе не знал донныне любви, и она впервые опалила чудесным огнем его душу и тело; он отдался своему чувству, поплыл по течению, волны страсти подхватили его и кинули в пучину. У юноши резко изменился нрав — он забросил все свои обычные занятия и предался уединению.

«Тайно плачь, безумствуй тайно...»⁸ — твердил он про себя и втайне от всех любовался своею возлюбленной.

В те времена любовь прекрасной девушки можно было завоевать только героическими подвигами.

Такое же требование, согласно господствующему обычаю, было предъявлено и влюбленному Глахуке. Но где же было найти арену для свершения этих подвигов?

Кахети в ту пору стонала под персидским игом, все от мала, до велика гнули спины под ярмом; в особенности же раболепствовали князья и дворяне. Лишь кое-где не покорствовали персам одиночки, среди которых выделялся своей непримиримостью владетель Ахметы — Бидзина Чо-локашвили. Весть о мужественной стойкости Чолокашвили долетела и до Имерети, и вот на него-то обратил свой взор наш новоявленный Автандил. Тщательно снарядившись в дорогу, Бакрадзе оседлал своего Абхазуру и двинулся на восток. В дороге им овладела тоска: не легко было расставаться с родными местами, терзала сердце разлука с возлюбленной. И Глаха ехал, напевая про себя:

Мир, зачем играешь нами и кого куда забросишь?
Как и я, страдает каждый, кто доверился тебе,
Словно враг, подстерегая, смертного нежданно скосишь...—

сетовал Глахука, обращаясь к луне и звездам со слезами на глазах, но когда он доходил до заключительных строк:

⁸ Из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Но господь не забывает в жертву отданных судьбе! ⁹

в сердце его загоралась надежда, и он нетерпеливо погонял своего скакуна. Абхазура, услышав шелканье плети, как бы улавливал мысли седока, прядал ушами, выгибал свою лебединую шею и, рассекая грудью воздух, устремлялся вперед по горам и долам.

Глава четвертая

Кахетинский царь Теймураз I почитал себя в глубине души новоявленным псаломопевцем Давидом.

«Мы, Багратиды, — потомки Давида. Он, так же как и я, был венценосным стихотворцем», — думал Теймураз, забывая, однако, что Давид царствовал по внушению свыше, а он, Теймураз, — только по соизволению своих же подданных. Давид воевал с амалекитянами, а он, Теймураз, борется здесь с персами и лезгинами. В политике Теймураз оставался поэтом, в поэзии — политиком — и готовил своему царству тяжкое будущее. Многие понимали, куда приведет этот путь, но разве кто дерзнул бы высказаться открыто? А так, втихомолку, кое-где слышались укоры и порицание.

Зима только начиналась. В камине гудел огонь. Звонко потрескивали ясеновые поленья. Перед камином, уставившись взглядом в пылающие угли, сидел юноша. Тут же неподалеку полулежал на тахте старик. На лицо его временами набегала тень, — казалось, старик беседует о чем-то сам с собою.

Молодой человек вдруг поднял голову и спросил старика:

— Что случилось? Почему за последнее время царь никогда не появляется на приеме, все сидит у себя, запершись на замок?

— Видно, опять надувает свою волынку, — холодно отозвался старик.

— Волынку?

— Да! Он и прошлую весну просидел запершись — и написал, нам на радость, «Лейл-Меджнуниани». Как-то летом он сложил «Шам-парваниани», а осенью сочинил «Хвалу плодам». Вот и сейчас пишет, верно, что-нибудь подходящее к зиме.

— Что ж, это не плохо! Пусть пишет! И то хорошо на досуге.

— Досуг? Да разве у царя может быть досуг?! Нет, сынок. Когда царь тянет волынку и от него только и слышно «дуу-ду, дуу-ду» — подданным остается только подвывать.

— Давид Строитель тоже был сочинителем, но его царству от этого не было ущерба.

— Давид, по примеру пророков, славил творца вселенной, его ямбы подобны молитве; а шаири Теймураза — шутовство.

— Он соперничает с Руставели!

— Хм! Источник бессмертия и с превеликой натугой вырытый колодец — кто может их уподобить!

— А послушать только царедворцев! Они твердят ему совсем другое...

— То-то и есть, сынок! Лесть губит всякое начинание. Лицемерие и фарисейство всегда были присущи придворным — это их ремесло. Удивительно только, почему царь им верит?

— Своего рода недуг, очевидно... вроде как с той царевной из сказки.

— Какой царевной?

— Неужто не слышал? Или забыл? Некая красавица царевна ходила каждое утро к источнику и, умывшись, спрашивала: «Скажи мне, источник, кто из нас краше: я, солнце или луна?» — «Хороши и ты, и солнце, и луна, но Этери прекрасней всех», — слышалось каждый раз в ответ, к великой досаде царевны. Так и с нашим царем... Написав что-либо, он спрашивает: «Кто же лучше: я, Чахрухадзе или Шавтели?» — «Хороши и ты, и Чахрухадзе, и Шавтели, но Руставели прекраснее всех», — нашептывает ему собственный разум; и сердце

⁹ Из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

царя терзает зависть.

— В том-то и несчастье, сынок: стоит только зависти проникнуть в сердце, как дух тоже начинает хиреть. Зависть, сын мой, — великий грех, а на наших царях и на всем их роде и без того не мало тяготеет грехов. Так, царь Александр, покойный дед Теймураза, все сетовал: народ-де в Кахети размножился; застроили всю страну, и ему, видишь ли, негде стало охотиться! Господь, услышав этот ропот, разгневался на царя и покарал его. Слыхано ли было в Грузии до той поры, чтобы сын враждовал с собственным отцом? А вот сын Александра, Давид — отец нашего Теймураза, заточил царя Александра в темницу; позднее второй его сын, вероотступник Константин, умертвил отца, а заодно с ним и своего родного брата Георгия. Вот какие смертные грехи, сын мой, тяготеют над этой семьей! Много пролито крови и много еще потребуется жертв, чтоб искупить ее и очиститься! — заключил старин с глубоким вздохом и перекрестился.

— Да простит им бог, да не взыщет господь с нашего царя за грехи его предков! А если и взыщет, да не падет гнев божий на царство Теймураза! — произнес юноша с горечью и обнажил голову.

— Аминь! — воскликнул старик, простирая руки к небу.

А в то самое время, когда вельможа и его сын порицали царя, сидя у камина, Теймураз в самом деле сидел запершись в своих покоях и пребывал в тяжелом раздумье; но мысли его были далеко от Руставели.

Перед Теймуразом лежали два письма: одно с севера, другое с востока.¹⁰ Первое — любезное, ласковое, обнадеживающее — радовало сердце; другое — полное угроз и попреков — сокрушало его.

«Теймураз-хан! — писал шах Аббас I. — Стало мне ведомо, что ты пошел по следам деда своего и хочешь, мне во зло, привести к моим воротам тех, что обитают по ту сторону гор; но пойми: твое же царство послужит им путем и мостом, прежде чем они достигнут моих пределов. Удивляюсь тебе! Как же случилось, что ты, росший со мною как брат, вдруг потерял разум? Наш издревле установленный братский союз оставался доселе нерушимым; ради чего же разрывать его сейчас? Правда, твое маленькое царство живет под сенью моего великого имени, но ведь на деле вы независимы, никто не попирает ни вашей веры, ни вашего языка, ни ваших обычаев и порядков. Правда, вы подвластны Персии, но и это вам на благо. Если б вы не находились под нашим покровительством, кто знает — сколько раз донныне разорили бы вас османы; теперь же, из страха и трепета перед нами, турецкий султан не смеет вас тронуть. Может быть, ты еще заведешь речь насчет дани? Но стоит ли говорить о шестидесяти красивых девушках, когда вы взамен получаете от нас тысячи туманов и сверх того халат? Теймураз-хан! Выкинь из сердца это губительное для нас обоих стремление, иначе, клянусь головой, не уйти от моего справедливого гнева ни тебе, ни твоему царству!»

Прочитав это письмо, Теймураз поник головой и тяжело задумался. Наконец, он очнулся как бы от толчка, выпрямился и вскрикнул;

— Нет, нет! Довольно... Тут порукой верности — пророк,¹¹ там — крест и евангелие! Покориться ему, не внять парю, значит изменить своей вере! Надо решать бесповоротно... Будь что будет! Но ведь маленькая Кахети — часть великой Грузии, а Грузия досталась в удел богородице, и мать божья не покинет свой удел на произвол судьбы! Грешно сомневаться! Недостойно христианской страны сносить безропотно гордыню неверных: преходящие бедствия, временные испытания не властны сломить сердце верующего! Испытания только закаляют человека. Разве господь бог не вверг избранный им израильский народ в рабство Египту? И он же вывел его в землю обетованную и возвел на царский престол Давида, предка моего. Царство его пребывало бы и поныне нерушимым, если б они

¹⁰ Имеется в виду Россия и Персия.

¹¹ Имеется в виду Магомет.

признали Христа сыном Божиим и не отступились от него. Прочь, прочь сомнения! Верую и исповедую, что будущее принадлежит христианству! Сегодня же соберу совет, чтоб послать и царю и шаху достойный ответ, о господи, во имя твое! Не остави нас! — Теймураз устремил взгляд на икону и перекрестился.

В тот же день совет, — никто почти не возражал, — решил порвать союз с Персией и примкнуть к северу.

Глава пятая

Шах Аббас впал в ярость, вторгся в Кахети и предал ее огню и мечу; он обратил в развалины города и крепости, опустошил и разорил селения, разрушил и осквернил церкви. Погибли все, кто не успел бежать в горы. И не было никому пощады, и потоками лилась кровь. Бедствия, постигшие Грузию, превзошли все, что пришлось пережить стране даже во времена Тимур Ленга...

Свирепый шах угнал в Персию десятки тысяч грузин, а вместо них переселил в Кахети туркменские кочевые племена; их станы тянулись по обоим берегам Алазани.

Весь мусульманский мир поздравлял «иранского льва» с победой, но сам «лев», шах Аббас, не знал покоя. «Такая победа не лучше поражения! — думал он. — Вот когда я почувствовал свое бессилие. Против одного грузина я бросал десять своих воинов, против десяти — сотню, и все-таки не мог их одолеть! Лучшие мои силы истаяли, завоевывая Кахети, а ведь она лишь малая часть Грузии! Как же мне захватить всю страну? А если я не покорю — потеряю и Персию. Грузия — путь и мост между Востоком и Западом, срединные ворота между ними. И если я не захвачу эту маленькую страну, как будет существовать без нее мое великое царство? Как ни велика крепость, но если она лишена защиты, она раньше или позже падет и будет разрушена! Нет, Грузия — тот «камень счастья»,¹² которым должна была владеть Персия. Должна владеть?! Хм!.. Легко сказать! Что поделаешь с народом, в сердце которого слились воедино вера в бога и любовь к родине; он до глубины души проникся этой своей верой, дух для него дороже плоти.

Великий среди великих Тимур Ленг только здесь и почувствовал свою хромоту, споткнувшись об этот «краеугольный камень мира». А что, если «иранскому льву» тоже придется поджать хвост? Опасен народ, дух которого витает высоко, а закаленное тело подобно кремню. Сначала нужно расслабить его тело и растлить его дух, и только после этого думать о том, как сломить его сопротивление. Да, да, там, где в иных случаях не пригоден топор, прекрасно справляется пила, там, где бессильна львиная лапа, выручит лисий хвосте.

Так решил могущественный шах и вместо открытого воинственного насилия прибег к лицемерию и вероломству. С этого дня, затаив гнев и притворившись милостивцем, шах обрек разоренную им страну на тайное мучительство. Яркие лучи, бьющие прямо в лицо, ослепляют человека, и он перестает видеть вещи в их настоящем обличье... Шах своими щедрыми милостями ослепил Кахети. Желудок осилил сердце, голос плоти заглушил дух. И мало-помалу страна очутилась в западне. Новая политика быстро дала плоды. Не напрасно персы, следуя ей, лаской привлекали к себе руководящие круги грузинского народа. Грузины заняли при дворе шаха Аббаса высшие должности и, легко богатея, предались праздности и чувственным утехам.

Тут не нужны были ни ум, ни Знания, ни какие-либо другие человеческие качества. Для того чтобы возвыситься при шахе, достаточно было, предав родину, безраздельно служить Персии. Тот, кто неизменно помнил, что он грузин, не мог рассчитывать на успех, — его угнетали и принижали, будь он даже герой из героев.

Шах Аббас видел все это и посмеивался в душе: «иранский лев» даже своим

¹² «Камень счастья», по народному поверью, приносит исполнение всех желаний.

преемникам завещал придерживаться и впредь той же политики, — вот почему не прошло и столетия, как Восточная Грузия наполовину омусульманилась: грузины переняли обычаи, нравы, веру и законы персов! В грузине уже никто бы не узнал грузина, даже язык подвергся искажению, а в знатных семьях стыдились разговаривать по-грузински. Правосудие совершалось на чуждом народу языке, даже службы и песнопения в церквах зазвучали как-то по-иному. Вместо архипастырей появились ахунди, священников и судей заменили муллами и кадиями. Все это так развратило людей, что грузин сам доносил на грузина. И в конце концов народ обессилел и пал до того, что и персы с презрением и хулой отзывались о некогда прославленной Грузии. Таким образом, во времена шаха Аббаса персам уже не приходилось хитрить и лукавить с Кахети, и в обессиленной жестоким игом стране они стали снова открыто чинить насилия.

Обманутая мелкими, вроде птичьей приманки, подачками, ослепленная шахскими милостями и лаской, страна поняла, что попала в кабалу. Но, чувствуя свое бессилие, народ не смел поднять голос. «Лучше хоть один вол, чем ни одного», — утешали себя люди и сами подставляли шею под ярмо.

Вельможи, которые раньше пренебрегали высшими придворными должностями амилахвара, амирэджиба, зшикага-баша и амирбара, теперь почитали за счастье служить хотя бы простыми чапарами.¹³

Обнищание раньше всего коснулось знати, и ожесточенное нуждой дворянство всей своей тяжестью навалилось на низшие сословия. Само дворянство пало до того, что стерлись даже родственные и кровные связи; каждый думал только о том, как бы что-нибудь урвать, и не щадил своего же родича; позабыв об исконных святынях, люди клялись именем шаха. И если среди дворян и князей еще попадался кое-где порядочный человек, не изменивший своей вере и болющий душой за родину, — его осуждали и поносили свои же соплеменники.

Только в крестьянстве, среди рабочего люда, орошающего трудовым своим потом горы и доли страны, обогрелой кровью предков, которые боролись и пали за родину, еще не заглохло чувство всенародного единства: крестьянство готово было вспыхнуть, подобно лучине, и ждало только искры.

Именно в это время жил в Кахети владетель Ахметы Бидзина Чолокашвили, человек безупречный и щедро одаренный природой; персам не удалось привлечь его на свою сторону ни угрозами, ни милостями. Кахетинцы удивлялись странному повелению Бидзины и осуждали его. — Слыханное ли дело, — говорили князья, — счастье стучится к нему прямо в ворота, а он чудит и не пускает его к себе в дом! Клянемся шахом, будь мы на его месте, мы бы показали себя на зависть врагам!

Много подобных пересудов доходило до Бидзины, но он отмалчивался... и только с сокрушением покачивал головой. Однажды к Бидзине пожаловал в гости его дядя Джандиери.

Этот Джандиери принадлежал к числу людей, которые, как говорится, держат нос по ветру и примыкают то к одному, то к другому лагерю, в зависимости от того, что им выгоднее. Возвысившись по милости персов, Джандиери пользовался в Кахети большим влиянием: он был чуть ли не первым советником при наместнике шаха; персидский правитель Пейкар-хан не решал без Джандиери даже самых мелких дел. Вот и теперь, как выяснилось впоследствии, он подослал своего советника к Бидзине Чолокашвили.

За обедом Джандиери не спеша, слово за слово, втянул хозяина в разговор:

— Племянник мой, — сказал он между прочим, — меня поистине удивляет твое упорство. Господь щедро одарил тебя. И ума у тебя достаточно и сообразительности. И судьба к тебе милостива! Но ты сам себе враг. Я уже говорил и повторяю: при дворе тебя ждет великое счастье, а ты, вроде бездельника нацаркекия, копаешься в золе и все о чем-то

¹³ Чапар — низшая административная должность, стражник.

размышляешь. Почему ты никак не хочешь расстаться с Ахметой? Она твоя и никуда от тебя не убежит! Было бы куда разумнее приумножить свое состояние на стороне...

— У всякого свой нрав, дядя! — перебил его Бидзина. — Мне и здесь хорошо. Лучше поменьше, да чистого, чем побольше, да грязи!

— Грязи? Какой грязи? Значит, все мы, кто ныне при дворе шаха, по-твоему грязные люди?

— Я только о себе говорю...

— Ошибаешься! Погляди на других, как они пользуются случаем и как живут! Дай бог долголетия шаху! В наше время хорошо ли, худо ли, но его милостями кормится вся страна.

— Хм! Сначала вырывают изо рта последний кусок хлеба, а потом кидают нам, словно собакам, объедки со своего стола!

— Да, но если не будет и этого, мы же помрем с голоду!

— А по мне, лучше уж славная смерть, чем такая подлая жизнь, и пока я жив, буду бороться, чтоб вернуть то, что мне дороже всего.

— Поздно, мой дорогой! «И рад бы взять, да силы не занять!» Не слыхал? Никто уже в нашей стране так не рассуждает, чего же ты добьешься в одиночку? Недаром говорится: «Одна ласточка весны не делает».

— Весны не то что одна, но и тысяча ласточек не сделают, — но весна сама приводит с собою и одну и тысячи.

А что, если и наша весна не за горами? Нынче я один, а завтра нас будут и сотни и тысячи...

— Пусть так!.. Но бывает — и нередко, — что ранняя ласточка гибнет от стужи...

— Знаю, дядя, но все же я предпочитаю умереть вместе с предвестниками весны, чем жить в почете и довольстве среди пророков зимы. Знаю, как не знать, что власть и почет соблазнительны! Где Ахмета, а где — Тегеран! Там все пленяет взор, чарует ум и сердце, ублажает желудок... Однако как раз этого-то я больше всего и страшусь! Я не хочу забывать о том, что должно помнить и любить до самой смерти. Здесь, в этой маленькой Ахмете, все — как бальзам для моей души: поля, ручьи, горы, скалы, долины — все, все неразрывно связано с моей душой, я неизменно чувствую эту кровную связь, — чувствую и легче переношу невзгоды! А что мне может дать чужбина взамен всего этого? К чему мне внешний обманчивый блеск когда разум и чувства мои втайне угнетены и душа хиреет? Сладок ваш шербет, но я не променяю на него свое вино, окрашенное кровью моих дедов. Вкусен ваш лаваш, но я предпочитаю хлеб моей родины, замешанный на прахе наших предков!.. Да, да! Наши поля удобрены их костями и плотью! И правы наши хлебопашцы, которые крестятся, прежде чем осушить чашу, и прикладываются к хлебу, прежде чем преломить его. Это наша величайшая святыня, это — наше причастие... Где же и чем мне причаститься, если покину свою родину? Пет, дядя, нет! Мы с ними чужды друг другу! Никакими силами не склеить того, что разъединено веками и самой природой. Освобождение — или смерть! Иного исхода нет!

Бидзина вскочил, выбежал на балкон и заметался как безумный. Джандиери покачал головой.

— Эх, какой человек пропадает! — сказал он с огорчением, вышел во двор замка, сел на коня и уехал.

Долго еще возбужденно шагал взад и вперед по балкону Бидзина, наконец утомился и, когда упали сумерки, присел на тахту, устремив взгляд на алазанские берега.

Сумерки постепенно сгущались. Бидзина ничего уже не мог разглядеть, зато слух его обострился... Ветер доносил плеск Алазани, он звучал жалобным стоном. Засверкали звезды. Луна еще скрывалась за горой, но край неба чуть засветился улыбкой, — вот-вот она взойдет.

Где-то поблизости послышалось щелканье бича, ароб-щик вполголоса затянул «Оровелу».

— Слава богу, я еще слышу родной напев! — проговорил, тяжело вздохнув, Бидзина и

продолжал: — Давно уже эти новые порядки вытравили из сердца кахетинца глубокие следы того, что пережил и перечувствовал наш народ в прошлом. Уже не слышно ни сладостных народных напевов, ни мужественных боевых песен, ни молитвословий, дарующих надежду и утешение, — их вытеснило басурманское завывание. Визг зурны и чианури заглушает нежные звуки чонгури и свирели. Только и сохранил народ, что эти две печальные песни — «Оровелу» и «Мумли Мухаса»... И слава тебе, господи: есть еще у нас надежда, пока хоть это не забыто!

Как раз в это мгновение из-за горы выглянула луна. Поднимаясь все выше и выше, она рассеяла по всему миру свои умиротворяющие лучи и разбудила замершую во тьме долину: пронесся ветерок, зашуршали травы, зашелестели листья, заколыхались кусты и дружно защелкали, засвистали соловьи! Тьма развеялась, и мир как бы ожил. И легче стало на душе опечаленного Бидзины.

На дороге показалась арба. Аробщик не спеша погонял буйволов и, пощелкивая плетью, тихо напевал:

Не кидайся в поток, поищи лучше броду!
Где силой не возьмешь, там надо исхитриться! —

закончил он звонко и, крикнув обычное «хи-оо!»,¹⁴ еще раз щелкнул плетью.

Бидзина вздрогнул, вскочил и, устремив взгляд в небо, долго, долго молчал. Наконец, как бы очнувшись, проговорил:

— Что же это я услышал? Кто кинул мне эти поразительные слова? Был то голос земли или неба? «Где сила не берет, надо исхитриться!». Да не все ли равно, откуда этот голос... И небо и земля немые, если нет на то воли провидения! И эти слова должны разрешить давнишнюю борьбу в моей душе. Да, да! «Где силой не возьмешь, там надо исхитриться!» Да, нужна хитрость, но во имя народа, а не ради своей корысти! О светила небесные! Будьте свидетелями моих помыслов и порукой в том, что я выполню свой долг! Вы еще не успеете закатиться, как я с изъявлением покорности явлюсь к Али-Кули-хану.¹⁵

Глава шестая

Мало радости принес Чолокашвили персам: не успел он перейти на их сторону, как в Кахети объявились вдруг повстанческие отряды, — то были бежавшие из деревень крестьяне. С этих пор персы уже не знали покоя: повстанцы повсюду подстерегали врагов и, где только представлялся случай, истребляли их поголовно; персы настолько были напуганы, что не решались показываться в деревнях, где раньше так дерзко хозяйничали, — мало того, они дрожали от страха, даже отсидевшись в крепостях, и лишь с величайшими предосторожностями выходили за крепостные ворота. Но самым примечательным было то, что мятежники преследовали не только персов, но еще более грузин, которые, по их сведениям, переметнулись на сторону врага и преданно ему служили.

Немало знатных князей и дворян, преуспевавших на персидской службе, поплатились жизнью за свою измену, при этом повстанцы разоряли их усадьбы; в Сабуе они схватили предателя священника и, выколотив ему глаза, отпустили с напутствием: «Загляни хоть теперь в свою совесть и покайся в прегрешениях!» Поместье Джандиери было сожжено дотла. Ходили слухи, что повстанцы нападали несколько раз и на усадьбу Чолокашвили, однако многочисленной челяди князя удавалось кое-как отбиться.

¹⁴ Хи-оо! — возглас, которым понукают волов.

¹⁵ Персидского правителя автор называет то Пейкар-ханом, то Али-Кули-ханом.

Персы не могли оказать должного сопротивления повстанцам; бороться с ними было особенно трудно, потому что никто не знал, кто они, где укрываются и откуда внезапно налетают. Персидские власти были весьма обеспокоены. «На местного зайца нужно спустить местную же гончую, чужая его не поймает», — решил Пейкар-хан и обратился за помощью к самим кахетинцам: расправившись с шайкой повстанцев, они, мол, докажут свою преданность шаху. В глубине души многие, возможно, хотели бы «доказать преданность», но на деле никто не дерзал открыто преследовать повстанцев, и власти поручили это дело Чолокашвили. А Бидзина заверял хана, будто он принял все меры, но никак не может справиться.

Между тем возникали новые и новые повстанческие отряды, силы их росли, они становились все смелее. Положение персов оказалось настолько затруднительным, что Пейкар-хан уже не знал, что еще предпринять, и пришлось бы ему донести обо всем шаху, но как раз в эту минуту к хану явился Симон Макашвили и заявил: «Я берусь усмирить страну».

Этот Макашвили давно уже приобрел среди грузин славу заведомого обманщика, проныры и предателя, и все его ненавидели. Он с малых лет воспитывался в Тегеране и даже занимал одно время высокое положение при шахском дворе, но в чем-то провинился и, как опальный, был выслан из Персии на родину. Потеряв всякое влияние, он слонялся без дела. Привычный к роскошной жизни вельможи, к своеволию и жестокости, Макашвили не находил себе покоя и все мечтал, как бы снова подняться на прежнюю высоту. Борьба с повстанческим движением помогла Макашвили осуществить заветное желание, и он опять всплыл на поверхность: персидские власти поставили его во главе усмирителей. Искатель счастья и высоких должностей, наделенный неограниченными полномочиями Макашвили немедленно принялся за дело. Стоило ему только получить от своих подчиненных донесение, что повстанцы напали чью-нибудь усадьбу или хотя бы завернули по дороге в ту или другую деревню, и он тотчас же, ни в чем не разбираясь, обрушивался на крестьян и разорял их дотла.

— Помилуйте, батано! Да разве ж мы виноваты? Ведь в ваших руках и власть и сила! Как мы можем отвечать за то, что мятежники прошли мимо нашего села?! — умоляли крестьяне князя Макашвили. Но кто стал бы их слушать! Тем более что персидские правители всячески поощряли изверга и одобряли его бесчеловечные расправы.

Деятельность Макашвили принесла свои плоды. Правда, ему не удалось перебить мятежников, персидские отряды даже в глаза их не видели, но нападения прекратились, и в течение нескольких месяцев о повстанцах не было слышно.

Услуга, оказанная князем Макашвили была оценена столь высоко, что шах сменил гнев на милость и наградил его «первым халатом».

Персы справляли праздник — день восшествия на престол шаха Аббаса. Алванское поле было полным-полно народа. По одну сторону поля белели шатры; правитель Кахети Али-Кули-хан, окруженный придворного знатью, восседал в большом раззолоченном шатре.

Солнце только-только взошло. Едва успело оно подняться над горизонтом на длину двух-трех копий, как музыканты заиграли «Кабул». ¹⁶ Хан вышел из шатра и в сопровождении своей свиты направился к тому месту, где обычно состязались борцы. Толпа загудела, потоком хлынули со всех сторон люди и плотной стеной окружили ристалище.

В те времена борьбой охотно развлекались как мусульмане, так и грузины. Хан тоже любил это зрелище и часто бывал на состязаниях. Прославленные борцы не щадили друг друга, не разбирая ни роду ни племени, но чаще всего вступали меж собой в единоборство персы и грузины. Несмотря на то, что персы, согласно обычаю, выходили на арену обнаженными по пояс, смазав тело салом, чтоб противник не мог цепко схватить его, а грузины боролись в чохах, — победителями все же часто оставались грузины.

¹⁶ Кабул — музыкальное произведение, которое перед состязанием.

Накануне некий Козманишвили одолел прославленного персидского борца и вывихнул ему плечо. Это так взволновало персов и огорчило самого Пейкар-хана, что он приказал Абдушахилию во что бы то ни стало сразиться с Козманишвили.

Абдушахиль был человек без рода, без племени, но выдвинулся в Ардалане, где проявил исключительное мужество, и командовал ныне всей ханской конницей. Ему, как вельможе, уже не подобало участвовать в единоборстве, — однако неловко было отказывать хану, и Абдушахиль, голый по пояс, вошел в круг. На первый взгляд его можно было принять за изваяние: огромный, крепко сбитый, широкоплечий, он казался высеченным из черного мрамора; густая черная борода чащею ниспадала на грудь; точно две ветви, торчали влево и вправо длинные усы; из-под широких бровей сверкали большие черные глаза. Музыканты заиграли са-чидао.¹⁷ Богатырь переступил с ноги на ногу, воздел руки к небу, устремил ввысь взгляд, испрашивая у неба победу, затем, пав ниц, трижды поцеловал землю, встал, обошел ристалище, — сделав шаг, он приподымался на носки и вздыхал всей грудью, как бы силясь расширить легкие и вобрать побольше воздуха. Замкнув круг, Абдушахиль остановился на прежнем месте и, опустившись на одно исполняющее колено, обернулся лицом в ту сторону, откуда должен был появиться противник.

Стали выкликать желающих, но никто не отозвался. Абдушахиль еще раз обошел круг, — по охотников соревноваться с ним не оказалось.

— Где же ваш вчерашний победитель Козманишвили? — спросил хан.

— Не хочет выходить! «Я, говорит, борюсь с обыкновенными силачами, а не с Голиафами», — доложили ему в ответ грузины.

— Раз так, стыд и позор вам! — сказал хан, улыбаясь, и приказал борцу сделать еще один круг и лишь затем покинуть ристалище.

Абдушахиль выполнил приказание хана; персы в знак полного удовлетворения поглаживали бороды и улыбались в усы. Абдушахиль, высокомерно вскинув голову, собирался уже уходить, но в это время толпа зашумела и раздался крик:

— Сачидао! Играйте сачидао!

Абдушахиль остановился и оглядел толпу. На арену выскочил тигриным прыжком стройный, тонкий, по широкоплечий юноша с копной развевающихся волос, бросил взгляд на противника и приостановился. Абдушахиль снова переступил с ноги на ногу, снова простер руки к небу, но в это мгновение юноша, словно камень из пращи, устремился к противнику, кинулся ему между ног, рванул их обеими руками к себе, и Абдушахиль, точно пень, покатился по земле, а юноша выскочил из круга.

— Нет, нет! Не по правилам! Так не полагается! — кричали сторонники перса.

Ошеломленный Абдушахиль поднялся, наконец, и сказал:

— Я еще не закончил приветствия, как он предательски налетел на меня!

Юношу чуть ли не насильно вытащили на арену. Он уже не порывался к противнику, только крикнул ему, не сходя с места:

— Эй, басурман, позови, как закончишь приветствие, тогда я приду!

Абдушахиль в ярости, словно буйвол, ринулся па юношу, но тот успел отскочить в сторону, и руки перса обняли пустоту. Юноша несколько раз проскользнул совсем близко, как бы заманивая богатыря, по каждый раз увертывался, только бы не попасться ему в руки! Абдушахиль, потеряв терпение, с проклятиями гонялся за противником. В конце концов юноша, улучив минуту, схватил его за руку повыше локтя, взвалил себе на спину и, низко опустив голову, разжал руки. Абдушахиль во всю свою длину растянулся на земле. Победитель на мгновение поставил ногу на живот противника, перескочил через него и выбежал из круга.

— Шайтан! Шайтан! — кричали персы.

¹⁷ Сачидао — музыка, сопровождающая борьбу.

— Теперь, хоть шайтане, хоть гайтане,¹⁸ — насмешливо отвечали грузины, — вашему богатырю, что валяется на земле, как бурдюк, уже ничего не поможет!

Поверженного борца подняли и увели. Он был ошеломлен не столько ушибами, сколько выпавшим на его долю позором.

Стали вызывать победители, искали его, но не нашли: юноша замешался в толпу. Так и не удалось узнать его имени.

Пейкар-хан, насупив брови, поднялся с места и направился к своему шатру. Толпа растаяла, люди разошлись кто куда. Пейкар-хан весь тот день был не в духе, однако многолюдные толпы, собравшиеся на празднество, все же веселились и развлекались по-своему.

После обеда вельможи, как водится, прилегли отдохнуть, а когда зной спал, началась джигитовка.

Всадники разбились на две группы и выстроились на противоположных концах поля.

Кони волновались, чуя близость скачки; подняв хвосты, они горделиво изгибали шеи и беспокойно плясали на месте. Заслышав звуки зурны, они рванулись вперед, но всадники крепко подобрали поводья, чтоб не оказаться раньше времени на середине поля. Копи фыркали, прыдали ушами, грызли удила, ноздри их широко раздувались, глаза сверкали.

Один из всадников вынесся вперед на своем Карабахе, ловко гарцуя подскакал к группе противников и, кинув одному из них вызов, с поразительной стремительностью умчался назад.

Противник понесся за ним и на всем скаку бросил ему вслед джирит. Однако первый всадник отбил его своим джиритом, перекинув его через голову.

Затем выехала в поле вторая пара, за нею третья — и так, не нарушая порядка, вступили в игру все остальные всадники.

Прекрасное было зрелище, когда всадники, уклоняясь от летящего вдогонку джирита, круто перегибались в седле то в одну, то в другую сторону, а иной раз ныряли под брюхо копя. А кони давно уже не нуждались ни в шпорах, ни в плети, они сами чутьем угадывали, что им надлежит делать. Всадникам было запрещено бросать дротики изо всей силы, а некоторым даже действовать правой рукой, и они играли только левой.

Абдушахиль не участвовал в соревновании.

Джигитовка кончилась. Всадники съехались и, выстроившись в ряд, дали передохнуть коням. Но вот снова раздались звуки зурны, всадники отпустили поводья, и кони с громким ржаньем понеслись вперед с легкостью джейранов.

Участникам состязания предстояло теперь пересечь поле в длину, до противоположного края, и затем, повернув копей скакать уже в одиночку, с тем чтобы сбить копьём золотую чашу, укрепленную на верхушке огромного платана. Эта чаша была предназначена в дар победителю.

Каждый из пронесившихся мимо дерева всадников метнул по одному разу в цель, но сбить чашу никому не удалось: случилось, копьё пронеслось совсем возле чаши, а бывало и так, что взлетало выше платана.

Вдруг на поле показался какой-то всадник на вороном коне, мчавшийся с такой быстротой, что разглядеть его было невозможно; он еще издали метнул копьё, попал в самую середину чаши, и она подскочила, сорвалась и, звеня, скользнула вниз.

Всадник подскакал к самому дереву, круто остановил коня, вздыбил его и на лету подхватил чашу, затем, пришпорив коня, помчался к тому краю поля, где стояли вельможи-грузины, — казалось, он хочет спешиться в знак уважения к ним, но разгоряченный безумной скачкой конь не слушался поводьев. Тогда всадник протянул чашу прямо с седла одному из вельмож и крикнул при этом:

— Да пошлет господь победу князю Макашвили во всех его делах!

¹⁸ Шайтан (персидск.) — дьявол. Здесь игра слов: шайтане — по грузински значит: внеси, гайтане — унеси.

Симон Макашвили выступил на несколько шагов вперед и взял из рук в руки чашу. В это самое мгновение что-то сверкнуло в воздухе и, прежде чем Макашвили успел упасть, голова его покатилась по земле.

Всадник повернул коня и умчался. Дрогнули от ужаса стар и млад. Мгновение — и раздались крики:

— Баши-Ачук!

— Это Баши-Ачук!

Снарядили погоню, но было уже поздно.

Пейкар-хан пришел в ярость, накинулся с бранью на дозорных и тут же пообещал тысячу золотых тому, кто доставит голову Баши-Ачука.

Глава седьмая

В ту пору в Имерети вспыхнули волнения: имеретинцы призвали карталинского царя Вахтанга, известного под именем шаха Наваза, с тем что он возведет на престол Имерети своего сына Арчила.

Имеретинская знать приняла царственного гостя с большими почестями и щедрыми приношениями. Церетели превзошел своей расточительностью всех остальных вельмож, но все же сердце царя привлек не он, а князь Абашидзе, притом же не очень дорогой ценой: он подарил царю десять прекрасных девушек, и только!

— Пригодятся для подарков шаху! — сказал он.

И царю Вахтангу так понравился этот дар, что он уже не уделил никакого внимания даже самым ценным подношениям.

Больше всех огорчился и обиделся Церетели, искони соперничавший с Абашидзе.

Кико Бакридзе, улучив подходящую минуту, сказал князю, своему господину:

— Ваша слава и величие — слава и величие ваших рабов! Ваша мощь и победа — и наша победа, государь мой! И нельзя допускать, чтобы все мы стали посмешищем абашидзевской челяди! Подумать только! Царь, вернувшись в Кахети, помянет Абашидзе с большим уважением, чем Церетели! Это же смерть для нас!

— Я и сам об этом сокрушаюсь, мой Кико, но что поделаешь! — уныло ответил князь. — Я ведь ничего не пожалел — ни сил своих, ни добра, казна моя почти пуста. Что ж я мог еще придумать?

— Князь мой, не прогневайтесь, хочу вам кое-что посоветовать: вы привлечете сердце царя и заставите его забыть о дарах Абашидзе, так я рассудил слабым своим умишком... Подарите царю нечто и вправду сказочное!..

— Сказать-то легко, но где такое возьмешь?

— Бог милостив! Если дело дошло до таких подарков, как красивые девушки, нам не о чем тужить, как-нибудь уж одолеем! В Гвимском монастыре воспитываются две сестры-двойняшки, не отличить одну от другой, и такие красавицы, что подобных им никто еще в наших краях не видал.

— Они что, сиротки? И нет у них родни?

— Почти что так, государь! У них нет никого, кроме меня; я же готов пожертвовать и собой и сиротками, только бы избавить вас от горестей. У девушек нет ни отца, ни матери; был один-единственный брат, да и тот запропал где-то, и давно уже ничего о нем не слышно. Я ведь тоже, можно сказать, кончаю жизнь без потомства, и у них все равно не будет другого покровителя, кроме вас. Так возьмите обеих из монастыря и подарите царю! Куда бы ни занесла их судьба, при каком бы дворе они ни очутились, христианском или мусульманском, с такой красотой все равно не пропадут.

Церетели долго колебался: жалко было обречь на погибель детей преданного ему когда-то Бакара; но победило давнее соперничество с Абашидзе, — Церетели взял сестер из монастыря и подарил их Вахтангу перед самым отъездом царя из Имерети. И царь и вся его свита были поражены необыкновенной красотой девушек, да еще тем, что их никак нельзя

было отличить друг от дружки. Царь не знал, как отблагодарить Церетели, и пожаловал ему обширные земли с многочисленными крепостными в Верхней Картли. Весьма довольный отбыл он к себе, приказав отправить следом двенадцать девушек: двух красавиц Бакрадзе и десять — подаренных ему князем Абашидзе.

Приказ царя был выполнен, но по дороге, уже в самой Картли, произошел небывалый доселе случай: па царский обоз внезапно напали разбойники и похитили всех девушек; драгоценностей они не тронули. Царь Вахтанг, узнав об этом дерзком нападении, разгневался и приказал на всех дорогах поставить заставы; девушек долго и усердно искали и в Картли и в Имерети, но они исчезли бесследно, словно провалились сквозь землю. И только в народе кое-где поговаривали тихонько, что это дело рук известного в Кахети Баши-Ачука, — смелые у него молодцы!

Прошло некоторое время.

Абдушахиль никак не мог успокоиться после состязания с Баши-Ачуком; затаив в душе злобу, он целыми днями в полном одиночестве слонялся по окрестностям, забирался даже в дремучие леса, рассчитывая встретиться где-нибудь лицом к лицу со своим победителем, отплатить ему и восстановить свою честь.

Впрочем, не одного только Абдушахила преследовала мысль о Баши-Ачуке, многие потеряли из-за него сон, но уже по другой причине: Абдушахила волновало мужественное желание еще раз помериться с ним силами, другим же грезилась награда в тысячу золотых.

Среди этих людей, пожалуй, больше всех была озабочена телавская жительница Тимсал-Мако, вдова армянского священника, известная своим умом и ловкостью; соседи призывали Тимсал-Мако во всех случаях жизни — и в радости и в горе; она готова была услужить и в дурном и в хорошем, и к тому же слыла искусной свахой. Вспыхнет где-нибудь пламень любви в сердцах юноши и девушки, Тимсал-Мако, точно учуяв запах паленого, уж тут как тут — и давай крутить! Она знала всех, и старого и малого, всюду была своим человеком, все прибегали к ее услугам, но любить ее — никто не любил.

Чуть только дошла до нее весть, что за голову Баши-Ачука обещана награда в тысячу золотых, как тотчас же ее обуяла корысть. «Такие деньги — не шутка! — говорила она себе. — С такими деньгами да при моей сметке чего только не добьешься! Надо заполучить Баши-Ачука во что бы то ни стало!.. Не может быть, чтоб люди не знали, кто он и где его найти! Не один же он бежал? Вместе с ним скрывается, верно, много и других молодцов. Кто поверит, что эти беглецы не связаны ни с кем из сельчан?»

И Тимсал-Мако, подумав хорошенько, тотчас же взялась за дело. Прослышит Тимсал-Мако, что в такой-то и такой-то деревне живет женщина, пользующаяся дурной славой, — и тотчас же, преодолевая все препятствия, знакомится с нею и заводит дружбу; Тимсал-Мако даже покумилась с некоторыми из них, — но все было тщетно: ей так и не удалось ничего выведать. Единственное только подозрение запало ей в душу: что если кто знает что-либо о Баши-Ачуке и его товарищах, так это Тевдораант Мелано... И Тимсал-Мако зачастила к ней.

Мелано жила с двумя малолетками неподалеку от Телави, на окраине маленькой деревни, у самой опушки; муж ее служил у персов стражником, и Мелано по два-три месяца не видалась с ним. Мелано славилась своей красотой, но люди поговаривали, что она далеко не безгрешна.

Заглянув как-то к ней в гости, Тимсал-Мако уловила на лице хозяйки как бы тень досады, поэтому решила посидеть подольше, и тут, точно ей на подмогу, разразилась гроза. Загрохотал гром, хлынул ливень, и гостье неизбежно пришлось заночевать у Мелано. Хозяйка явно волновалась все больше и больше; она торопливо приготовила ужин, накрыла стол, поставила перед гостьей целый кувшин кахетинского и, усердно подливая, настойчиво уговаривала:

— Выпей на здоровье, крепче заснешь! А Тимсал-Мако отвечала ей со смехом:

— Я и без того, кума, сплю крепко и сладко. За ужином я всегда посыпаю пищу особым снадобьем — хоть из пушек пали, не проснусь до рассвета! И снятся мне всё сладкие сны,

словно в царствие небесное попала! Ты бы попробовала разок, потом, вроде как я, ни за что от этого снадобья не откажешься! — Тимсал-Мако вынула из кармана мешочек с каким-то порошком, развязала его и посыпала порошком еду. — Это лекарство от бессонницы, его из макового зерна готовят. Впрочем, тебе, кума, не советую им пользоваться, у тебя малые дети, приходится часто вставать к ним ночью. А я как свалюсь, словно бурдюк, — ничего до утра не слышу, сплю как убитая! — Тимсал-Мако завязала мешочек и сунула обратно в карман.

До конца ужина было еще далеко, а Тимсал-Мако уже начала зевать, у нее слипались глаза; наконец, пробормотав несколько слов, она уронила голову на грудь... Сон одолел гостью, Мелано с трудом довела ее до стоявшей в углу тахты и прикрыла одеялом. Гостья потянулась разок-другой, потом повернулась лицом к стенке и захрапела.

— Хоть до второго пришествия спи! — проговорила, улыбаясь, Мелано, вернулась к столу, но не стала его убирать — напротив, сняла с полки отварную курицу, сыр, вареные яйца, кувшин с вином и расставила все это на скатерти. Потом умылась, причесалась, повязала голову красным шелковым платком и начала прихорашиваться.

Время от времени она оборачивалась к Тимсал-Мако, но гостья лежала не шевелясь, лицом к стене, и похрапывала. Мелано прикрыла ей голову своим старым платком и, нетерпеливо поглядывая на дверь, присела на скамеечку, поближе к огню.

Прошло немного времени, во дворе раздался лай: пес, видно, накинудся на кого-то, но тотчас же примолк и стал ласково повизгивать. Мелано вскочила и кинулась к двери. У Тимсал-Мако бурно заколотилось сердце, но она не пошевелинулась, продолжая притворяться спящей.

В комнату вошел наш старый знакомец — Глаха Бакрадзе; сняв башлык и мокрую бурку, он поставил бурку в углу, откинул на спину папанаки, прислонил к стене ружье и, оправив на себе пистолет, шашку и кинжал, с ласковой улыбкой обнял Мелано.

Мелано приникла к нему — не оторвать! И долго стояли они забывшись, — казалось, приросли друг к другу, как близнецы.

Услыхав вдруг чей-то храп, юноша вздрогнул.

— Не бойся, сердце мое, это наша крестная, вдова армянского священника, она приняла маковое снадобье и уснула. Клянусь, ничего сейчас не услышит, — пусть враг твой так же оглохнет!

И Мелано рассказала ему, как и почему застряла у нее вдова, но Глаха недоверчиво покачал головой. Чтоб убедить его, Мелано принялась тормошить спящую гостью: дергала за ногу, подымала ей голову, расталкивала и так и этак, — но Тимсал-Мако не просыпалась: пробормотав что-то разок, она снова захрапела.

— Брось, не мучай ее, — сказал Бакрадзе. — Я буду уже далеко, когда она проснется. — Он подсел к столу и усадил рядом свою возлюбленную.

И долго они щебетали, как положено щебетать всем влюбленным. Между прочим, Мелано спросила:

— Почему тебя окрестили Баши-Ачуком?

— Это уже персы здешние меня так прозвали, — ответил Глаха. — Они не разобрали, что у меня на голове папанаки, и решили, что я хожу без шапки; Баши-Ачук по-ихнему и значит: «с непокрытой головой»...

И много еще было всяких рассказов за ужином. Баши-Ачук поведал Мелано все, что пришлось пережить ему и его товарищам за минувшую неделю; поужинали, потом снова обнялись... Когда Глаха попрощался со своей возлюбленной, пропели уже вторые петухи.

— Приду через неделю, раньше не жди, — сказал он и пустился в путь.

Вдова не пропустила ни единого слова; солнце стояло уже высоко, когда она проснулась и вскочила с постели с таким видом, будто ей за ночь даже ничего не приснилось. Распростившись с Мелано, вдова отправилась домой.

Глава восьмая

Примерно в эти же дни Али-Кули-хан вызвал к себе Абдушахилья и сказал ему:

— Эту тайну я не могу доверить никому, кроме тебя, хотя у меня и немало людей, и наших и грузин, доказавших свою преданность.

— Баш-уста!¹⁹ — воскликнул Абдушахилья, приложив в знак покорности руку ко лбу.

Али-Кули-хан пересказал ему все, что донесла Тимсал-Мако, и приказал Абдушахилью в назначенный день, захватив с собою отряд всадников, окружить дом Мелано и доставить ее вместе с Баши-Ачуком в ханскую ставку.

Абдушахилью это поручение пришлось не по вкусу:

«Другое дело, если бы мы встретились один на один и я бы с ним расплатился, но напасть на человека из-за угла, схватить его с помощью целого отряда — нет, это дело, недостойное мужчины и храброго воина».

Весь день Абдушахилья раздумывал, а когда стемнело, пустился в путь один, как был, и подошел прямо к воротам Тевдораанта Мелано.

Увидав незнакомого перса, пришедшего к ней в дом в такое неурочное время, Мелано обомлела от страха, однако Абдушахилья успокоил ее:

— Не бойся! Я пришел не как враг, а как друг. Мелано приободрилась: незнакомец был статный, красивый мужчина, к тому же он ласково ей улыбался.

— Да будет благословен твой приход! — сказала она, склонив голову, смущенно пригладила кавеби и придвинула гостью стул.

Перс огляделся, запер изнутри дверь и обнажил кинжал.

Мелано вздрогнула.

— К чему насилие там, где все само дается в руки! — сказала она.

Перс притворился, будто не слышит, сунул руку в карман и вынул туго набитый золотом кошель.

— Вот, гляди! В одно» руке у меня кинжал, в другой — золото. Выбери сама: я тебя озолочу, если исполнишь мою волю; а нет — заколю этим самым кинжалом!

Мелано растерянно проговорила:

— И кинжал свой спрячь и золото побереги, довольно с меня и того, что ты так хорош...

— Ты ошибаешься! — жестко кинул ей Абдушахилья. — Я пришел к тебе совсем не за этим. Знаю, что у тебя бывает Баши-Ачук, и ты должна мне помочь схватить его.

Мелано побледнела. Долго, дрожа всем телом, клялась она и божилась, что не знает никакого Баши-Ачука. Абдушахилья кинул одобрительный взгляд па молодую женщину, но тотчас же снова нахмурился.

— Попусту клянешься, я ведь доподлинно все знаю. На, возьми пока что этот кошель, а потом, когда я с твоей помощью захвачу Баши-Ачука, получишь еще тысячу золотых, и, клянусь аллахом, никто не узнает о том, что ты его выдала.

Сколько ни уговаривал Абдушахилья Мелано, суля ей всякие блага, женщина не сдавалась и только с ожесточенным упорством качала головой, а Абдушахилья, все больше и больше восхищаясь ею, думал про себя: «Вот это настоящая женщина! Потому-то мы до сих пор и не можем сломить грузин, что у них такие женщины».

Наконец, он крикнул ей в упор:

— Раз так, прощайся с жизнью!

Мелано упала на колени и, в ожидании смертельного удара, прикрыла рукой глаза. Абдушахилья склонился к ней, обнял за плечи и сказал, пытаясь ее успокоить:

— Я пошутил! Да разве можно убить такую женщину, как ты! Честь и слава тебе — ты преданный друг и умеешь любить! Я много слышал о грузинских женщинах, но как-то не верилось, и вот теперь, испытав тебя, я воочию убедился...

Мелано припала к его коленям.

¹⁹ Готов повиноваться! (персидск.)

— Я знаю, — продолжал Абдушахиль, — что Баши-Ачук придет к тебе в заранее условленный день; мне приказано с отрядом всадников окружить твой дом и взять Баши-Ачука, но ты предупреди, чтоб и духу его здесь не было!

Мелано в изумлении воскликнула:

— Значит, ты друг Баши-Ачуку?

— Нет, враг, непримиримый враг! Либо он, либо я! Либо он меня уничтожит, либо я его, но я с ним должен сразиться один на один, как подобает настоящему мужчине, а не подкравшись воровски, вероломно, как мне приказано. Поняла? Передай все это Баши-Ачуку, а теперь прощай, оставайся с миром!

Абдушахиль простился с Мелано и, кинув ей свой туго набитый золотом кошель, ступил за порог.

В назначенный день отряд всадников во главе с Абдушахилем оцепил дом Мелано, но там не оказалось никого, кроме испуганной женщины и спящих детей.

В тот же день на одной из улиц Телави вспыхнул пожар, и дом Тимсал-Мако сгорел дотла; люди спаслись, но пропало все ее добро.

Глава девятая

Как-то раз Абдушахиль бродил весь день, от раннего утра до вечера, в дремучем Шуамтийском лесу, рассчитывая повстречаться с Баши-Ачуком или с кем-либо из его товарищей, или же набрести случайно на его убежище.

Возвращаясь после тщетных поисков, он неожиданно наткнулся на косулю: она остановилась неподалеку и уставилась на него, совсем как ручная.

Абдушахиль снял с плеча лук и пустил в косулю стрелу. Косуля упала, — казалось, охотник убил ее наповал. Но когда Абдушахиль подошел ближе, чтобы унести с собою добычу, она вдруг вскочила и, прихрамывая, побежала прочь. Охотник погнался за нею.

В глубине леса оказалась широкая поляна — к ней-то, видимо, и стремилась косуля. Выйдя на опушку, Абдушахиль вдруг увидел, что у противоположного края поляны показалась совсем юная, необычайно красивая девушка; ему никогда еще не приходилось встречать такой красавицы.

Абдушахиль притаился за деревом. Раненая косуля подбежала прямехонько к девушке и с жалобным блеянием уткнулась мордочкой ей в колени. Девушка вздрогнула, огляделась и, убедившись, что поблизости никого не видно, извлекла из бедра косули стрелу, отшвырнула ее, затем, ухватив животное за рога, подвела к роднику, который пробивался рядом, обмыла почистила ей рану. Косуля подчинялась девушке, словно разумное существо, и прилегла у ее ног на здоровом боку, как бы говоря: «Делай со мною, что хочешь».

Девушка оторвала полоску от своего легкого покрывала и перевязала косуле рану.

Абдушахиль наблюдал за всем происходящим и удивлялся. «Не иначе, как богиня охоты», — подумал он и, поддавшись влечению сердца, тихонько подкрался к девушке.

Косуля первая учуяла чужака, вскочила в испуге, сделала несколько прыжков в сторону, но вдруг остановилась: нетрудно было понять, что косуля и охотника боится и девушку не хочет оставить одну. А девушка тоже вскочила, увидев рядом басурмана, вскрикнула пронзительно и мгновенье спустя упала без сознания на траву.

Абдушахиль бросился к ней, приподнял и долго пытался привести в чувство: он тормошил ее, растирал нос, мял уши, но девушка не приходила в себя; тогда он побежал к роднику, набрал в пригоршню воды и обрызгал девушку. Она открыла глаза.

— Не бойся! Я тебе — брат, ты мне сестра! — крикнул ей Абдушахиль. — Скажи только, кто ты и откуда, чтоб я мог отвести тебя к родным.

Девушка не в силах была вымолвить ни слова и только молча указала рукой на запад, где темнел лес, затем снова потеряла сознание.

Перс подхватил ее, точно ребенка, и, прижав к груди, понес наугад в ту сторону, куда она указала. Косуля, точно собака, бежала за ними; сделав два-три прыжка, она

останавливалась и оглядывалась на отстающих спутников.

«Вот чудеса! Неспроста все это. Пойду-ка я за косулей, куда-нибудь она да выведет!»

Девушка понемногу пришла в себя. От богатырской груди Абдушахилия исходила теплая волна; сладостная дрожь пробежала по телу девушки: она впервые в жизни испытала это чувство. «Должно быть, мне только снится... — думала она. — Мне и раньше снилось что-то похожее, но это гораздо сильнее». Девушка затаила дыхание и снова закрыла глаза.

Абдушахиль — он был еще молод — тоже испытывал что-то странное; вглядываясь в ее лицо, он думал: «Это, верно, гурия, обещанная Магометом, и я живым иду в рай».

С каждым шагом сердце его колотилось все громче и чаще. Абдушахиллю были уже ведомы утехи любви, но он никогда не испытывал того чувства, которое сейчас его волновало. Раньше наслаждалась только плоть, теперь плоть как бы замерла, только душа влекла его куда-то к заманчивой пропасти.

Так двигался он медленным шагом вперед, — вдруг среди леса показалось обнесенное каменной оградой здание.

Косуля подбежала к воротам, остановилась и заблеяла, Абдушахиль попытался открыть ворота ударом ноги, но они оказались на запоре. Он прислушался: ни звука.

Абдушахиль опустил свою драгоценную ношу на землю и решил обойти здание кругом. Когда он возвратился, на поляне не оказалось ни девушки, ни косули, ворота же как были, так и остались наглухо запертыми изнутри. Потрясенный исчезновением девушки, Абдушахиль долго стоял в ожидании чего-то, оглядывался по сторонам, трижды обошел ограду, но за нею не слышно было ни малейшего признака жизни. Тогда Абдушахиль сказал себе: «То, что предуготовано мне судьбой и что довелось однажды увидеть, — верю, меня не минует; я снова где-нибудь встречу эту девушку, но лучше все это сохранить в тайне».

Грустный, одурманенный переполнявшим его чувством возвратился он в Телави.

С того самого дня Абдушахиль потерял покой, сердце его охватило пламя любви; и чем больше протекало времени, тем сильнее оно разгоралось. Точно привороженный, бродил он вокруг Шуамтийского монастыря, немало ночей провел у знакомого родника, — по все было тщетно. Страсть — та страсть, которую воспевают на Востоке, — поглотила его всецело, он точно обезумел и стал избегать людей.

Друзья огорчались, видя Абдушахилия в таком расстройстве чувств, и пытались выведать причину, но он хранил свою тайну и объяснял свое состояние попросту болезнью.

Глава десятая

Было уже поздно, давно отужинали. Али-Кули-хан полулежал на тахте, перебирая четки, и нетерпеливо поглядывал на дверь.

Дверь скрипнула, Тимсал-Мако просунула голову в щель, затем бесшумно вошла, и, остановившись перед ханом, низко ему поклонилась.

— А-а, это ты, Тимсал? Где же та женщина? — спросил он.

— Я пришла одна, — уныло ответила вдова.

— На что ты мне нужна без нее? — досадливо крикнул ей хан и присел на тахте. — Или, может, подарок мой не понравился? Мало ей, что ли?

— Помилуйте, государь! Просто я ее уже не застала. Родные, видать, заподозрили неладное и услали куда-то подальше.

— Как так услали?

— Чуть подрастет у кого-нибудь красивая девушка, ее тотчас же отдают в монастырь, будто в монахини, а на самом деле прячут, чтобы ваша милость или еще кто из знатных людей не завладел ею. Да что, государь, далеко ходить: взять хотя бы Шуамтинский монастырь — он полон красавиц! Ведь и тех девушек, которых похитили в прошлом году у карталинского царя, — они предназначались в дар великому шаху, — мятежники укрыли там же...

— А говорили, будто их похитил Баши-Ачук?

— Как раз это самое я и хотела вам доложить, государь! Чего-чего только не делается в этом монастыре против вас... Да если бы монахини не помогали, разве могли бы все эти беглые злодеи продержаться столько времени среди дремучего леса? Недаром сказано, что «крепость изнутри рушится», — их ведь ваши собственные вельможи покрывают.

— Кого ты подозреваешь? — спросил встревоженный хан.

— Грузины все до единого ненадежны, им никак нельзя доверять, Чолокашвили особенно.

— А какие у тебя улики?

— Да разве он такой человек, чтоб можно было его уличить?! Но сердцем я чую, — предчувствие иной раз сильнее всякого доказательства.

— Твое вещее сердце уже обмануло тебя однажды насчет Баши-Ачука!

— Я и тогда была права, мой государь, но нас, без сомнения, предали, — иначе зачем спалили мой жалкий домишко, кому это было нужно?

— Вздор! Об этом деле знали только мы двое, я да Абдушахиль, а ты, со зла, что сожгли твой дом, готова всякого оговорить, никого не щадишь! Чолокашвили с утра до ночи при мне, ночей из преданности нам недосыпает, а ты обвиняешь его в измене! Горе тебе, если ты так же права насчет монастыря, я шкуру с тебя спущу!

— Нет, государь, только из преданности вам вмешиваюсь я в эти дела, а то, какая мне корысть? — дрожа от страха, ответила старуха. — А то, что я доложила вам насчет монастыря, — сущая правда. Отсеките мне голову, если что не так!

— А как ты узнала?

— Мне передала Кочи-Брола.

— Кто?

— Кочи-Брола, жена портного, моя двоюродная сестра... та, что славится своей красотой... Разумеется, где вам упомянуть, но она как-то и сюда со мною приходила... Я свела ее с одним юношей, которого кое в чем подозревала, она все у него и выведала.

Хан, как ужаленный, вскочил с тахты и завопил в ярости:

— Абдушахиль, Абдушахиль! Тимсал, перепугавшись, забила в угол.

В комнату вбежал пожилой военачальник и доложил хану, что Абдушахиль болей: я, дескать, сегодня его заменяю.

— Все равно! Ты — так ты! — воскликнул хан срывающимся от ярости голосом. — Возьми конный отряд, и отправляйтесь сейчас же. Окружите Шуамтийский монастырь. Сравняйте его с землею! Обратите в прах! И чтоб не было пощады ни старикам, ни молодым! Приказываю обесчестить всех, кто попадется, тут же, открыто, а потом рубите их на куски. Отберите для меня только самых красивых и приведите сюда. Отправляйся немедленно!

Военачальник поспешно вышел. Перепуганная насмерть старуха последовала за ним, а хан, скрежеща зубами, бормотал про себя:

— Изменять! Обманывать! Я вам покажу!

На рассвете, во время заутрени, отчаянные вопли и рыдания огласили вдруг Шуамтийский монастырь. Персы, ворвавшись в обитель, принялись истреблять беспомощных, беззащитных женщин. Одни в поисках спасения прыгали с высокой ограды, другие, чтобы избежать бесчестия, кидались вниз со скалы, третьи, опозоренные, тут же накладывали на себя руки. А тех, кто остался в живых, беспощадно рубили озверевшие насильники.

Начальник отряда выволок во двор еще одну юную девушку; растрепанная, растерзанная, она едва дышала от страха. Начальник посадил ее на плоский камень под липой.

— Не бойся, очнись, тебя никто не тронет!

— Чего ты медлишь? Убей меня — и конец! Вы загубили столько невинных душ, к чему же оставлять меня в живых? — рыдая, воскликнула девушка.

— Ты обязана этим своей красоте. Она-то тебя и спасла. Я доставлю тебя великому

хану. Кто знает, какая ожидает тебя судьба! С такой красотой, может статься, попадешь вдруг в жены солнцеподобного шаха!

Девушку объял ужас, она задрожала всем телом. А перс, уверенный, что красавица вне себя от радости, сказал ей со смехом:

— Если мое пророчество сбудется, смотри не забудь обо мне!

Девушка собрала все свои силы и с притворным спокойствием ответила:

— Сбудется или не сбудется, кто знает, но я хочу сегодня же вознаградить тебя за то, что ты спас мне жизнь. Я подарю тебе талисман, с ним не страшны ни пуля, ни шашка!

Перс с удивлением взглянул на нее и снова улыбнулся:

— Если у грузин есть такой талисман, почему вы о себе не позаботились? Разве вам самим жизнь не дорога?

— А кто сказал, что мы не пользуемся? Если бы не этот талисман, как могли бы грузины выжить среди стольких бедствий? С незапамятных времен бесчисленное множество врагов терзает наш маленький, с горсточку, народ. Но мы, слава богу, отбиваемся от них, и там, где падает сто или двести врагов, погибают всего один или два грузина, не больше, — и только те, над кем бессилен талисман. Ты думаешь, меня спасла сегодня моя красота? Нет, меня избавил от гибели этот талисман! — Девушка сняла с шеи обшитую кожей ладонку с частицей мощей, с которой никогда не расставалась, и показала ее персу.

Воин взглянул на ладонку и отступил на шаг... Помолчав, он спросил:

— Но ведь талисман был и у других, почему же он спас только тебя?

— Тому виной простая случайность: я заснула не поужинав, а другие отужинали, талисман же сохраняет силу, только если человек постится.

Перс с сомнением покачал головой.

— Не веришь? Давай испытаем на деле! — убеждала его девушка. — Чего же проще! Возьми повесь себе на грудь, а мне дай свою шашку, я полосну тебя что есть силы, — и увидишь, шашка тебя даже не оцарапает!

Перс усмехнулся.

— Еще что придумала! А вдруг случайно возьмет да разрежет?! Хм... К тому же я вчера поужинал до отвала! Да и не так я молод, чтобы ты могла меня провести, давно уже сменил молочные зубы!

— Думаешь, обманываю? Сомневаешься? Так попробуй на мне: ударь что есть мочи, не жалея, — увидишь, твоя шашка рассекает только платье.

Девушка прилегла на камень, положила ладонку себе на грудь; перс хотел испытать ее, вынул шашку из ножен, размахнулся, — но девушка даже не дрогнула, только промолвила, усмехнувшись:

— Я же сказала, что шашка твоя не причинит мне никакого вреда.

Перс убедился, что девушка не шутит; горя желанием овладеть чудесным талисманом, он снова замахнулся что есть силы... — разрубленная надвое девушка свалилась на землю.

Вздрагнул обманутый воин, хлопнул себя по лбу:

— Одурачила меня, несчастная!

Он сокрушенно покачал головой, кинул растерянный взгляд на бездыханное тело и, сунув клинок в ножны, двинулся дальше.

В эту минуту над разоренным и поруганным монастырем, полыхая, взметнулось к небу необычайной силы пламя...

Когда весть об этом горестном событии долетела до Телави и окрестных селений, люди взволновались до глубины души. Но кто дерзнул бы открыто выразить свою скорбь?..

Только враги и предатели Грузии не печалились и, разумеется, ликовали неверные, — за исключением одного: узнав о том, что произошло, человек этот как безумный вскочил на коня и помчался в Шуамта. Это был Абдушахиль.

Подъехав, он увидел сгоревший дотла монастырь; кругом было безлюдно, царила могильная тишина.

Глубокая печаль овладела Абдушахилем, и впервые в душе его мелькнуло сомнение:

«Аллах, аллах, неужели тебе и в самом деле нужны такие жертвы? И что за доблесть истреблять беспомощных, незащитных женщин и детей?»

Христиане этого не делают... Даже разбойники и то избегают. За эти два-три года не счесть, сколько семей они разорили, и магометан и своих же грузин, — но разве кто-нибудь позволил себе тронуть незащитных детей и женщин?» Погруженный в эти размышления, Абдушахиль миновал просторный монастырский двор и остановился вдруг возле липы: взгляд его упал на мертвое тело девушки. Абдушахиль вскрикнул страшным голосом, зашатался и упал бы, если б не прислонился к дереву. Долго стоял он безмолвно. Наконец, пришел в себя и, не отрывая взгляда от покойницы, произнес с отчаянием:

— Чем провинился я перед тобой, аллах, почему явь обратил ты вдруг в сон? Того ли я ждал? Нет ее! Исчезла! Развевалась моя мечта! Но ничто в мире не сотрет того, что однажды с такой силой запечатлелось в моем сердце! Если я потерял ее живую, хоть мертвая — она моя!

Абдушахиль поднял разрубленное надвое тело девушки, прижал его к груди и двинулся туда, откуда еще так недавно нес ее живую... Но как не похож был этот путь на тот, давешний! Тогда над ним, опьяненным счастьем, раскрывались небеса, — теперь он задыхался от скорби, и казалось, земля вот-вот разверзнется у него под ногами.

Он опустил свою ношу у родника. Долго глядел он на погибшую девушку, и слезы градом катились по его лицу; потом вырыл близ родника могилу и, тайно схоронив свое сокровище, выровнял края могилы.

С этого дня Абдушахиль часто, очень часто приходил к роднику и, не смыкая глаз, проводил ночи у дорогой ему могилы.

Глава одиннадцатая

Однажды в ясную, лунную ночь Абдушахиль, как обычно, полулежал у могилы, уйдя в свои сладостные воспоминания и мечты, как вдруг поблизости послышался шорох. Абдушахиль обернулся, из уст его вырвался крик, он вскочил, отшатнулся и, отступив на несколько шагов, невольно сжал рукою кинжал... но тут же замер и словно онемел: перед ним стояла та, которую он так горестно оплакивал.

— Прочь! Прочь от меня, злой дух! Да проклянет тебя Магомет!

— Не бойся, я та, по ком ты так горюешь и плачешь! — тихо ответила девушка.

— Ты дух, вернувшийся с того света, чтоб даровать мне утешение и радость?

— Да, я пришла к тебе и ради тебя, но я не дух, а живой человек во плоти, верящий в твою любовь и любящий тебя.

— Как, ты ожила?

— Я не умирала.

— А это? — Абдушахиль с удивлением указал на могилу.

— Ты ошибся: это сестра моя, несчастная Пирмтвариса, мы с нею близнецы; а меня зовут Пиримзиса.

— Да будет благословенна твоя воля, господи! — вскричал Абдушахиль и взял девушку за руки. — Скажи, скажи мне, это сон или явь? Объясни, как все это случилось, не то я сойду с ума!

Абдушахиль едва держался на ногах от волнения и невольно опустился на землю. Девушка, подсев к нему, ласково заговорила:

— Ты видишь, я совсем не стесняюсь тебя, потому что мы с тобой — как брат и сестра. Помнишь, ты именно здесь, на этом самом месте, приводил меня в чувство и потом назвался братом; знаю, знаю, слово доблестного воина вовеки нерушимо. Любовь к тебе запала мне в душу с того самого дня, но она безнадежна и безысходна — мы с тобою разной веры, нам никогда не соединиться. Поэтому я заглушила то чувство, покорила судьбе и люблю тебя только сестринской любовью.

Перс с изумлением слушал ее и, наконец, спросил дрожащим от волнения голосом:

— Сестра моя, но сладостнее, чем сестра! Скажи, как ты спаслась? И кто тебя привел сюда?

— После того как разорили монастырь, воины отобрали нескольких девушек, в том числе и меня, чтобы увести их в плен, но я воспользовалась общим смятением и, ускользнув, спряталась тут неподалеку — забралась в пустое кевври. Когда они подожгли монастырь и уехали, я вылезла из кевври и долго скрывалась в лесных зарослях, — оттуда я видела, как ты оплакивал мою несчастную сестру и как ты ее похоронил; я понимала, что ты ошибся, приняв ее за меня, и сердце мое переполнилось любовью, С тех пор я живу здесь, в пещере, и часто украдкой слежу за тобой. Сегодня не выдержало сердце, и я решила показаться. Сейчас я больше ничего не скажу. Если хочешь знать всю правду, пойдем вместе в мое убежище, но лишь с одним условием: не удивляйся ничему, что бы ты ни увидел, и ни в коем случае не берись за оружие. Доверишься ли ты мне?

— Пойду за тобою хоть в ад.

— Поклянись!

— Клянусь Магометом!

— Магометом, в которого мы не верим?

— Хорошо... Клянусь вашим Христом!

— А что он тебе? Нет! Поклянись лучше словом доблестного воина.

— Клянусь! Клянусь к тому же своей необыкновенной любовью, которую не в силах выразить!

— Теперь я верю! — сказала девушка, протянула Абдушахилю руку, и так, взявшись за руки, они углубились в дремучий лес.

Глава двенадцатая

В глубине леса, в пещере, расположенной среди неприступных расселин, несколько молодых повстанцев, сидя вокруг костра, жарили на углях шашлыки. Тут же стоял длинный стол; на нем не было видно ни хлеба, ни вина, ни какой-либо другой еды.

У входа слышались шаги, и в пещеру вошла женщина с довольно объемистой корзиной в руках.

— Это ты, Мелано? — сказал один из повстанцев, по всем видимости главарь отряда.

— Сегодня не нашлось надежного человека, чтоб доставить вам пищу; ничего не подделаешь, сама пришла. Пробираюсь к вам, а у самой коленки дрожат от страха. Поскорее опорожните корзину, пришлось бросить спящих ребят без призора, — ответила Мелано, передавая свою ношу.

— Вот только поужинаем, и кто-нибудь проводит тебя до первого жилья, — отозвался тот же повстанец.

Мелано тихонько прошла вглубь пещеры и уселась в углу.

Вынули из корзины хлебы, кувшин с вином, глиняный горшок с каким-то варевом и разместили все это на столе.

— Да здравствует наша благодетельница! — воскликнул один из повстанцев. — Зато мы поделимся с нею сегодняшней добычей.

Остальные поддержали его и до краев набили корзину Мелано кусками освежеванной дикой косули.

Вдруг в лесу раздался крик филина. Все вскочили и, схватившись за оружие, кинулись к выходу; но филин умолк, а вместо него заверещал пересмешник.

Повстанцы успокоились и снова уселись вокруг костра.

— Хорошие шутки! Видно, ошиблись наши дозорные и подняли всех на ноги... — ворчали обитатели пещеры.

Вошла Пиримзиса.

— Испугались, верно? — сказала она, смеясь. — Дозорный не сразу разобрался в темноте: он принял моего пленника за врага и, конечно, поднял тревогу. Но я его быстро

вразумила — и он сразу же дал вам знать, что все спокойно!

— Пленник? Какой пленник? Откуда? — раздалось со всех сторон.

— Да, я захватила пленника и привела его к вам, даже не обезоружив! Зачем, думаю, оскорблять молодца?! Примите его как гостя, да смотрите не обижайте!

Пиримзиса быстро вышла и возвратилась в сопровождении Абдушахилия. Все повскакали с мест и уставились на пленника.

Абдушахиль, едва пойдя в пещеру, застыл у входа.

— Баши-Ачук! — вскрикнул он, потрясенный неожиданной встречей.

— Как видишь, Абдушахиль, это Баши-Ачук, а я — сестра Баши-Ачука. Да будет благословенна ваша встреча и да принесет нам счастье твой приход!

Все умолкли, повстанцы с недоумением переглядывались. Абдушахиль молитвенно воздел руки и воскликнул:

— Слава аллаху, неисповедимы пути его! Я искал тебя как врага, а встречаю как друга!

Баши-Ачук засмеялся:

— Я то же самое хотел сказать! Итак, ты наш гость, а мы — хозяйева! — Он подошел к Абдушахиллю, обняв подвел к столу и посадил рядом с собою.

— Нежданный гость, посланный нам богом, да не осудит нас за угощение. Трапеза у нас скудная, зато веселая! — продолжал Баши-Ачук.

Все уселись за стол и весело принялись за ужин. Только песен не было слышно, зато завязалась оживленная беседа, хоть и разговаривали вполголоса. Ужин затянулся надолго; чего-чего только не было переговорено! Почти все сотрапезники, хотя бы вкратце, рассказали историю своей жизни, и, наконец, очередь дошла до Абдушахилия.

— Я человек без роду, без племени, — начал он. — Не знаю, кто были мои отец и дед, не знаю и того, откуда сам я попал в Ардалан. Только смутно, как сквозь сон, вспоминаю рассказы несчастной моей матери! На нашу деревню напали как-то лезгины и разорили ее; из всей нашей семьи уцелели только двое — моя мать да я, а был я в ту пору еще грудным младенцем; лезгины захватили нас и угнали. Была у меня, говорят, еще старшая сестра, но она жила в другой деревне, у священника, и, можно надеяться, спаслась. Больше я ничего о родичах своих не знаю.

Мелано затаив дыхание слушала рассказ Абдушахилия.

— Скажи, у тебя на левой руке шесть пальцев? — неожиданно спросила она. И когда Абдушахиль ответил утвердительно, кинулась к нему, обняла и разрыдалась:

— Господь не захотел, чтоб мы навек потеряли друг друга!

Все были поражены, благодарили бога, крестились и поздравляли брата и сестру с чудесной встречей. А сам Абдушахиль даже растерялся и не знал, что ему делать.

Понемногу, когда все примолкли, Пиримзиса обратилась к Абдушахиллю:

— Я тоже желаю тебе всякого блага! Теперь, когда нашлась твоя кровная сестра, наш уговор уже ни к чему: ты перестал быть мне братом.

Абдушахиль вздрогнул и тревожно спросил ее:

— Значит, мы отныне чужие друг другу?

— Нет, почему же? Просто знакомые — христианка и магометанин.

— Нет, какой я теперь магометанин? Сама же ты слышала, что я родился в христианской семье и сегодня по воле провиденья возвращаюсь к вере моих отцов. Отныне я верую и поклоняюсь тому, кому поклоняетесь все вы. Баши-Ачук! Примите меня в ваш отряд, чтоб я мог с нынешнего дня делить с вами и горе и радость.

Эти искренние, вырвавшиеся из глубины души слова вызвали общий восторг.

— Абдушахиль! — сказал после некоторого раздумья Баши-Ачук. — Да, пути провидения неисповедимы! Ты можешь сослужить великую службу нашей стране. К тому же это, оказывается, и твой долг, раз ты грузин. Но не надо спешить. Ты должен до поры до времени затаить в глубине души все, что здесь произошло; ты должен вернуться к своему войску и вести себя так, чтобы никто не почувствовал в тебе никакой перемены. Убеди всех, что это ты убил Баши-Ачука, — в подтверждение возьми мое папанаки и, выпачкав его

кровью, поднеси своим начальникам. Они тебе поверят, мы на время скроемся, а хан, успокоившись, осыплет тебя милостями. Так надо действовать некоторое время ради общего дела. Сейчас я больше ничего не скажу, а подробности ты узнаешь после того, как переговорю с Чолокашвили.

Баши-Ачук подошел к Абдушахлию, братски обнял его и поцеловал.

— А теперь хоть моих детей пожалейте, я же бросила их одних! — сказала Мелано. — Пора домой! Провожатого мне сам бог послал — родной брат меня проводит, другого мне и не надо!

И Мелано взяла за руку Абдушахлия.

Пиримзиса проводила их взглядом и, как бы завидуя Мелано, хмуро сдвинула брови.

Мелано, заметив это, кинула ей с лукавой усмешкой: — Спокойной ночи, невестушка! Приятных тебе снов, и чтоб все они сбылись! — и поспешно удалилась, уводя с собою Абдушахлия.

Глава тринадцатая

Окровавленное папанаки долго красовалось на площади, чтобы все его видели и убедились в том, что Баши-Ачука нет в живых. Абдушахлия со всех сторон поздравляли с победой, но он неизменно отвечал одно и то же:

— Обо мне говорить не стоит! Чолокашвили — вот кому все мы должны быть благодарны: без его помощи я бы ни за что не справился с этим делом — и Баши-Ачук был бы жив и отряд его продержался бы до сегодня!

Прошло еще несколько месяцев. Страна, казалось, успокоилась, о крестьянах-повстанцах, покинувших свои деревни, ничего не было слышно. Персы по прежнему нагло хозяйничали в стране, позабыв о всякой осторожности.

Вести о том, что народ, наконец, присмирел, дошли и до шаха. Заслуги Чолокашвили были оценены по достоинству, но он как раз в это время тяжело заболел и был прикован к постели. Из Ахметы долетали слухи один хуже другого. Говорили, будто князя разбил паралич, что у него отнялись ноги и уже нет надежды на выздоровление.

Пейкар-хан часто справлялся о здоровье Бидзины и в знак особого благоволения даже посылал к нему несколько раз Абдушахлия.

Однажды вечером в Ахмету прискакал, — по видимому, откуда-то издалека, конь его был весь в мыле, — какой-то всадник; он спешил к дому Чолокашвили, привязал коня к балкону, быстро взбежал по лесенке и, не спросив, как свой человек, прошел прямо к хозяину.

Чолокашвили лежал на тахте.

— А-а, Бакрадзе! — воскликнул он, увидев гостя, и поспешно приподнялся на своем ложе.

Баши-Ачук низко склонился перед ним в знак приветствия.

— Так быстро всех объехал?

— Да, шени чириме!²⁰ — почтительно ответил Бакрадзе и передал письма.

Чолокашвили нетерпеливо вскрыл их одно за другим и стал читать; он был явно взволнован, но постепенно лицо его прояснялось.

Баши-Ачук, не шевелясь, стоял рядом.

— Добрые вести, утешительные! — произнес, дочитав письма, Чолокашвили.

— Да не лишит вас господь утешения вовеки. Я бы раньше доставил вам эти вести, если бы не задержало половодье.

— Они легко согласились?

— Ксанские эриставы — легко, арагвинский владетель — с неохотой.

²⁰ Шени чириме — дословно: «твоя беда мне», ласкательное обращение.

— Ты сообщил им все наши тайны?
— Я открылся только Шалве.
— Неужели согласился и Заал?
— Он бы не согласился, по за день до моего приезда его духовник имел некое видение.
— Видение? — воскликнул Чолокашвили, с удивлением уставившись на Баши-Ачука.
— Да, шени чириме, — почтительно ответил Баши-Ачук и пересказал князю все, что он слышал о драконе. — Одним из этих героев были вы, — добавил он, но решил умолчать о том, что все три героя погибли. Бидзина благоговейно перекрестился.
Чудны дела твои, господи! — воскликнул он. — Значит, эриставы придут на помощь?
— Через пятнадцать дней обязательно будут здесь.
— Маловато у нас войска... А что, если мы не одолеем такую силу персов? Беда!
— Помилуй, шени чириме! Если на то господня воля, мы одолеем и вдесятеро сильнейшего врага! Пшавы и хевсуры нападут в условленный день на Бахтриони, ксанский эристав с главными силами присоединится к вам, чтоб сообща ударить на персов, ну а с улусами мы уж как-нибудь и сами справимся.
— Сколько же вас всего?
— В нашем отряде сто двадцать человек, и столько же, верно, у Тевдорадзе.
— Но ведь все они рассеяны по разным местам — одни в персидском войске, другие неизвестно где!
— Наши-то ведь тоже рассеяны, да вовремя соберутся.
— Хорошо! Так не теряй же времени! Поди отдохни немного, а утром пораньше примемся за дело. Пора, пора!

Баши-Ачук ушел. Оставшись в одиночестве, Бидзина еще раз перечитал письма, воскресил во всех подробностях рассказ Баши-Ачука о видении, столь поразившем священника, затем встал, обнажил голову, снял папаху и опустился на колени перед иконой. Долго-долго стоял он так, не отрывая глаз от лика богоматери и простирая к ней руки. Бидзина молил ее заступиться перед сыном за Кахети, спасти Кахети от басурманского ига и тем придать силы всей Грузии.

Бледный колеблющийся свет лампы освещал мужественное, исполненное благоговения, полное надежд лицо Бидзины, борода и усы его были увлажнены слезами.

Глава четырнадцатая

Архиерей отслужил обедню, затем молебен и окропил святой водой войско, собравшееся в селении Икорта. Все были уверены, что оно направляется, во главе со своими эристами в Имерети, но Шалва и Элизбар в ту же ночь тайно повернули в сторону Кахети. По пути к ним присоединились арагвинцы, все как один отборные воины. Арагвинцев вел священник Кирилл, — он шел перед строем с иконой святого Георгия в руках.

Поспешно, однако соблюдая величайшую осторожность, войско перевалило через горы и спустилось в Ахмету, где уже поджидал Чолокашвили со своим многочисленным ополчением.

Бидзина Чолокашвили стал во главе объединенного поиска и тотчас же разделил его на две части: половина войска осталась при нем, другую половину он разбил в свою очередь на отдельные отряды и распределил их по разным местностям с таким расчетом, чтобы в назначенный день повсюду неожиданно ударить на врага.

Была темная, безлунная ночь. Едва пропели первые петухи, в час, когда среди ночного безмолвия слышится только журчанье ручьев и однообразный плеск реки, на обоих берегах Алазани вспыхнули вдруг огни, — то в разных местах одновременно запылали стойбища кочевников, и зарево пожаров залило окрестности.

То тут, то там слышался боевой клич, затем раздались душераздирающие вопли и

крики. Баши-Ачук со своим отрядом напал на туркмен и предал их селения огню и мечу. Одновременно арагвинцы окружили Бахтриони; пшав-хевсуры, прорвавшись в крепость, уничтожили засевших в ней персов. То же произошло и во многих других селениях, после чего двинулись вперед главные силы восставших под предводительством Чолокашвили.

Али-Кули-хан, получая со всех концов страны донесения о мятеже, встревожился и бросил против грузинского войска всю свою конницу во главе с Абдушахилем. Однако вскоре до него дошла страшная весть: грузины, опередив врага, заперли персидскую конницу в тесном ущелье, взяли в плен Абдушахилия и разоружили его воинов. Все это произошло будто бы потому, что Абдушахиль, пренебрегая советами, завел свою конницу, чтоб сократить путь, в такие теснины, где она не могла развернуться; пользуясь этим, сидевшие в засаде грузины отрезали им пути к отступлению и принялись крушить окруженное со всех сторон войско.

Али-Кули-хан растерялся; дрожащим от страха голосом приказал он известить о случившемся Джандиери. Но как раз в эту минуту к нему прискакал вестник с сообщением, что Джандиери тоже изменил персам и примкнул вместе со своими людьми к Чолокашвили.

Пейкар-хан был потрясен и долго не мог вымолвить ни слова.

— Но ведь Чолокашвили лежал разбитый параличом, а Джандиери был всегда нам верным слугой? — проговорил он, наконец, про себя. — О, гяуры! Теперь я все понял, но поздно... — Он заскрежетал от ярости зубами. — Эй, коня! — приказал хан и, вскочив в седло, помчался с такой быстротой, что немногочисленная свита едва поспевала за ним.

Еще до наступления утра Пейкар-хан успел неузнанным покинуть пределы Кахети; на другой день, достигнув мест, где ему уже ничего не угрожало, он ускакал вместе со своей свитой в Персию.

Таким образом, персы остались и без военачальника и без какого-либо руководства; запершись в крепостях, они думали только о том, как бы спасти свою шкуру, а между тем вдохновленные успехом кахетинцы не давали им ни минуты передышки.

Даже и те из грузин, которые вчера еще, передавшись на сторону персов, с величайшим рвением преследовали своих же собратьев, стали теперь едва ли не самыми мужественными борцами за независимость родины. В течение нескольких недель Кахети была очищена от врага, во всей стране не осталось ни одного персидского воина.

Открылись двери заколоченных доньне храмов, снова раздался церковный благовест. Этот призыв взволновал сердца, все устремились, как бы влившись в единый крестный ход, к храмам — мужчины и женщины, старики и дети, вельможи и нищие — и в один голос прославляли освободителей страны. Имена Бидзины, Шалвы и Элизбара были у всех на устах.

Радость кахетинцев передалась и карталинцам. Царь Вахтанг втайне сочувствовал и тем и другим, но, как шах Наваз, он делал вид, будто гневается и негодует:

— Как смели эриставы нарушить мою волю и восстать против великого шаха Аббаса!

Когда вести о событиях в Кахети дошли до шаха, с ним от ярости сделались корчи; он тотчас же послал приказ хану ганджи некому ворваться в Кахети и разорить ее дотла.

«Дарю ее тебе!» — писал ему шах Аббас.

Хан, поблагодарив великого шаха за милость, откровенно признался, что, будь его ханство даже вдвое больше и сильнее, он ни за что бы не решился — себе на позор — двинуться против Кахети без поддержки шахских войск. «Ведь кахетинцы сейчас до того осмелели, почувствовав свою силу, — писал он, — что мне одному их не одолеть».

Эти препятствия еще больше расстроили шаха. Его душила неистовая злоба. Как снести такое унижение!

Приблизительно в те же дни шах получил послание шаха Наваза из Картли. Царь выражал шаху свое соболезнование и сообщал, что победа кахетинцев пагубно отразилась и в Картли. «Эриставы отступились от меня и противостоят мне, — писал он. — Окажите великую милость, пришлите на помощь ваше могущественное войско, покорившее вам весь мир, чтобы я мог с его помощью обуздать ослушников и наказать Кахети за возмущение

против вас, — да так, чтобы они, раскаявшись, смирились навеки». В заключение царь заявлял, что ему нужна в подмогу от шаха большая сила, иначе он не может одолеть воодушевленный победой народ.

— И шах Наваз пишет о том же! — воскликнул нахмурившись шах. — «Нужна большая сила!» Хм... Они, видно, полагают, что у меня нет другого дела, только о них и думаю?! Нет, сейчас еще не время! Надо дождаться подходящего часа, и тогда я при случае воздам им по-своему. Он написал ответ карталинскому царю и отослал его с Муртузали-ханом.

Это послание было полно лести и лицемерия! Шах благодарил Вахтанга за преданность и верность, но советовал не спешить с решениями и не делать ничего сгоряча. Весьма прискорбно, писал вероломный деспот, что кахетинцы дерзнули подняться против него, но шах-де осведомлен, что повинны в этом местные правители: нарушая волю шаха, они всячески притесняли народ, и у кахетинцев не было другого исхода, как взяться за оружие. Шах надеется, что царь Вахтанг произведет расследование и сообщит ему во всех подробностях, как все произошло на самом деле; в заключение шах просил выслать к его двору трех прославившихся героев. «Я хочу видеть их воочию и, простив заранее, желаю сам милостиво, без гнева, расспросить их. Клянусь своей головой и бородой Магомета, достойно приняв их, отпущу, ни один из них не останется в обиде. Если же они, не оценив моей милости, все же ослушаются, тогда, клянусь всемогущим аллахом, я отомщу за неподобающее моему величию оскорбление не только Кахети, но и всей христианской Грузии! А если по какой-либо причине не сделаю этого сам, завещаю свою волю внукам и правнукам».

Вахтанг несколько раз перечитал это полное угроз послание и, горько усмехнувшись, подумал: «Именно такого ответа я и ждал от тебя! Мы с тобою выросли в одной берлоге! Знаю тебя, шах Аббас! Где тебе не удастся взять по-львиному, силой, там ты оборачиваешься лисой! Но господь всемогущ, авось на этот раз ты не добьешься своего!» И царь поник головой, охваченный горькими думами.

Глава пятнадцатая

Давно уже жизнь в Картли и Кахети не текла так мирно и покойно, как в 1659 году.

Осень была уже на исходе, приближалась зима, а дни стояли совсем весенние — казалось, даже солнце ласково лелеет утихомиренное сердце страны.

Царь Вахтанг созвал к себе карталинскую и кахетинскую знать. Прибыли по царскому зову почти все, в том числе и кахетинские герои.

Царь прочитал своим вельможам письмо шаха Аббаса и попросил у них совета. Большинство вельмож склонялось к юму, что не следует выполнять шахского веления.

— Разве персы исполняли когда-нибудь свои обещания, хотя и клялись бородой Магомета? Разве можно полагаться на уверения шаха? Ясное дело, он хочет предательски завлечь их. А если это случится, нам уж лучше не жить на свете! — говорили они.

Но существовало и противоположное мнение; в защиту его выступил арагвинский эристав Заал.

— Вы правы, — сказал он, — не приходится ждать, чтобы шах примирился вдруг с нами и принял наших эриставов с искренним дружелюбием, мы все это понимаем. Однако покамест обстоятельства не таковы, чтоб он дал себе волю и открыто проявил свою злобу. В самом деле, какой для него смысл угрожать нам пока что издали и подобной неосторожностью срывать осуществление собственных замыслов? Правда, ныне Картли не входит во владения шаха, но все же подвластна ему. И шаху придется быть осмотрительным — не переходить известной границы, иначе еще одна победа, подобная той, какую одержали кахетинцы, и ему останется одно — отказаться также от Картли! Шах Аббас это прекрасно понимает и не решится проявить свою враждебность — напротив, он скорее притворится благосклонным. Он, несомненно, из лицемерия примет кахетинских героев с почетом и

отпустит, осыпав их милостями, а потом, выбрав подходящую минуту, подкрадется к нам лисой и взыщет за все полностью. Мы должны помнить об этом и быть наготове! А пока разумнее проявить уступчивость... Надо исполнить его желание, тем более что сейчас им не угрожает какая-либо опасность; если этого не сделать, оскорбленный в своем тщеславии шах впадет в ярость и постарается выполнить свою угрозу. Я уверен, что на этот раз и моего зятя и эриставов минуют всякие беды, если бог им не судил иного! А если такова его воля, им и здесь не избежать своей судьбы.

Под влиянием этой речи многие из вельмож изменили свое мнение. Царь тоже согласился с Заалом. Теперь оставалось только выслушать самих освободителей Кахети, которых требовал к себе шах.

Старик Элизбар молча встал и, не отвечая на обращенный к нему вопрос, подошел к окну, выглянул во двор и задумался. Все с нетерпением следили за ним.

— Государь мой, — обратился эристав к царю. — Что с вашим платаном, почему облетела вся листва?

— Почему облетела? — с удивлением переспросил царь. — Время пришло! Ведь скоро зима.

— Как бы дерево не усохло без листвы.

— С какой стати? Придет весна, и платан снова зазеленеет.

— Так-то, государь мой, дерево снова зазеленеет — вот вам мой ответ на вопрос, который предстоит решить нашему совету.

И царь и вельможи всё с тем же недоумением глядели на эристава: казалось, он не в своем уме и бредит. Но эристав продолжал с печальной улыбкой:

— Великий государь! Что листва для дерева, то и мы все для нашей родины, и год для листвы — то же, что век для нас. Через полвека никого из нас уже не будет в живых, наше место займут другие. «Если роза опадает и прошел цветенья час, ей на смену новой розой сад украсится прекрасный...»²¹ 111 Грузия же — дерево нашей жизни, выросшее на родной грузинской земле, и к этому дереву привита вера христианская. Пока ствол его снизу доверху стоит нерушимо, пока корни его держатся цепко за землю — оно будет жить во всей своей силе, сколько бы ни качались ветви, как бы ни опадала листва. Каждый из нас такой же лист — один из многих, которым раньше или позже суждено опасть; и разве допустимо из-за нас подвергать опасности все государство? Нет, великий государь, мы непременно должны явиться к шаху, а там будь что будет!

— Государь мой! — воскликнул Чолокашвили. — Эристав высказал полностью все, что и мы хотели сказать, я лишь добавлю от себя: дерево, как и всякое растение, не может жить без поливки, — так и древо нации, чтоб укрепить его корни, необходимо орошать не одним только потом, но время от времени и святой мученической кровью. Такие жертвы привычны нашей стране, она их не раз приносила. И если по воле провидения нам выпала ныне честь быть жертвенными тельцами, мы благоговейно воспримем волю всевышнего и смиренно сложим паши головы за родину! И да унесем с собою все беды Грузии!

Бидзина подошел к Элизбару и стал рядом с ним.

— Аминь! — воскликнул Шалва, присоединяясь к своим соратникам.

Трепет пробежал по рядам вельмож, и долго-долго в зале царя тишина. Царь молча подошел, обнял и поцеловал Шалву, Элизбара и Бидзину Чолокашвили. Слезы, сбежав по его окрашенной хной бороде, падали на пол.

— Да будет сие залогом неразрывной связи между родом моим и вашими, — произнес царь, указывая на эти слезы.

И вскоре после этого Шалва, Элизбар и Бидзина пустились в путь на восток, в Персию. В это же самое время трое всадников пробирались через горы, направляясь на запад. То были Абдушахиль, Пиримзиса и Баши-Ачук. Они молча погоняли коней, каждый был погружен в

²¹ Из поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

свои думы. Для Абдушахилия повсюду был рай, только бы не расставаться с возлюбленной; охваченная огнем любви Пиримзиса спешила на родину, чтобы там насладиться своим счастьем; один только Баши-Ачук не очень-то рвался в Имерети: ему стало известно, что та, из-за которой он покинул когда-то родину и ушел в Кахети, уже выдана замуж за рачинского эристава.

Имерети примяла обоих витязей, как родная мать. Баши-Ачук вступил во владение отцовской усадьбой и принял в дом своего зятя Абдушахилия. Правда, ни Баши-Ачуку, ни Абдушахилию не посчастливилось, как у нас говорят, «поймать дэва за ухо»,²² но, преданные своей родине, они не раз беззаветно сражались с турками, защищая от них Имерети, за что и были награждены обширными поместьями в Сацетрло.

Безоблачно и спокойно протекали их дни, но однажды на них обрушилось тяжкое горе: они узнали, что любимые ими кахетинские герои замучены в Персии.

Многие в Сацетрло не прочь были видеть своим зятем Баши-Ачука, или Бачуку, как его ласково называли люди, однако надежды этих семей не оправдались: Баши-Ачук не думал о женитьбе, пока не скончался Церетели, а вслед за ним и рачинский эристава, — только тогда он поспешил в Рачу, похитил вдову эристава и обвенчался с ней.

Потомки Абдушахилия, носящие фамилию Абдушахивили, и поныне живут в наших краях, и по всему видать — славный был у них предок. Баши-Ачук, или Бачука, оставил еще более многочисленное потомство, однако его внуки и правнуки предпочитают именоваться Бакрадзе, и кто знает — станут ли они когда-нибудь снова Бачукашвили!

1895–1896

²² То есть совершить какой-нибудь исключительный подвиг.